



В. ВОИНАРЯРСКИЙ

БОЛЬШАЯ
БАРЫНЯ

Василий Александрович Вонлярлярский

Большая барыня

Василий Александрович Вонлярлярский (1814–1852) – популярный русский прозаик середины XIX века.

Роман впервые был опубликован отдельным изданием (ч. 1–2. М., 1852) и, как свидетельствует современник, имел большой успех. «...Его читали с удовольствием и издание раскупилось очень быстро» (Заметки. – Санкт-петербургские ведомости, 1853, 11 янв., № 8, с. 29, подп.: И. М.).

Василий Вонлярлярский Большая барыня

Василий Вонлярлярский и его роман «Большая барыня»

Роман впервые был опубликован отдельным изданием (ч. 1–2. М., 1852) и, как свидетельствует современник, имел большой успех. «...Его читали с удовольствием и издание раскупилось очень быстро» (Заметки. — Санкт-петербургские ведомости, 1853, 11 янв., № 8, с. 29, подп.: И. М.).

На выход «Большой барыни»[1] откликнулись все русские журналы. Они почти единодушно (единственное исключение — обошедшийся без особых восторгов «Сын отечества») отметили большой шаг вперед, сделанный Вонлярлярским. До появления «Большой барыни» критики ценили в произведениях этого писателя юмор, увлекательную манеру повествования, блестящие описания столичной и провинциальной жизни, высокое развитие искусства детали, чистоту и легкость слога.

Все эти достоинства присутствовали, по мнению рецензентов, и в новом романе, но к ним прибавились мастерски выбранные и точно обрисованные характеры и, что самое главное, изложение подчинилось основной мысли. Критику «Современника» показался чрезвычайно психологически достоверным характер Петра Авдеевича. «К числу свойств этих простых, недалгих и вместе с тем практических натур принадлежит необыкновенное упорство чувства. Правда, что они большею частью сльвут за бесстрастных людей, но это потому, что величайшего труда стоит пробудить их страсть: она у них не подготовлена и не разогрета фантазиєю, мечтательностию или чтением романов. <...> Притом, самая страсть, не сосредоточиваясь исключительно в одном только сердце, но разлагаемая деятельностью головы, именно фантазиєю и мечтательностию, через это самое ослабляется. От этого в недалгих, простых или чисто практических натурах она действует несравненно сильнее, сосредоточеннее, и замирает перед нею их практический смысл и рассудительность; она принимает трагический ха-

рактер» (Современник, 1852, № 8, отд. 4, с. 38). Представитель «молодой редакции» «Москвитянина» Е. Н. Эдельсон считал, наоборот, графиню Белорецкую наиболее жизненным в романе лицом. «С самого первого появления своего на сцену до последней минуты оно остается верным себе и постоянно выдержанным типом. Собственно говоря, это, впрочем, не характер с резко обрисованными и выражающимися в действии преимущественно индивидуальными чертами, а довольно общий тип богатой, балованной и прихотливой светской женщины <...>. Но все эти черты, свойственные этому типу, выставлены чрезвычайно искусно и верно» (Москвитянин, 1852, № 16, отд. 5, с. 132). В обстоятельном и глубоком разборе, помещенном в «Санкт-петербургских ведомостях» 3 августа 1852 года, дана высокая оценка формы романа.

Еще большее единодушие продемонстрировали критики, выявляя недостатки «Большой барыни». Всем им показался натянутым ключевой для развития сюжета разговор графини с Петром Авдеевичем о его приезде в Петербург, многие отмечали неестествен-

ность трагического финала. Противоположное мнение высказал лишь О. И. Сенковский, славящийся оригинальностью своих литературных воззрений: «События искусно расположены и хорошо связаны, развязка неожиданна, естественна, трогательна» (Библиотека для чтения, 1852, № 11, отд. 5, с. 21).

Большой успех лучшее произведение Вонлярлярского имело и за рубежом. В 1858–1859 годах вышли два французских перевода «Большой барыни». Один из них, выдержавший впоследствии множество переизданий, принадлежал известному французскому писателю и критику Ксавье Мармье (1809–1892), писавшему в 1856 году П. А. Плетневу: «Я читаю „Большую барыню“, которая меня весьма заинтересовала» (Прийма Ф. Я. «Русская литература на Западе». Л., 1970, с. 106). Затем появились переводы на датский (1860) и немецкий (1863) языки.

Большинство произведений В. А. Вонлярлярского было опубликовано им за короткий промежуток с 1850-го по 1852-й год в журналах («Отечественные записки», «Современник», «Библиотека для чтения», «Пантеон») и

в московском альманахе «Раут». В 1853 году увидели свет посмертные журнальные публикации романа «Сосед» и двух драм. В том же году под титулом «Все сочинения Василия Александровича Вонлярлярского» начало выходить редактировавшееся Ксенофонтом Полевым семитомное собрание литературных трудов писателя (СПб., 1853–1854). В нем были собраны ранее опубликованные произведения, а три драмы и повесть «Могло бы не случиться» печатались впервые.

В начале нашего столетия было предпринято другое издание прозы писателя, но оно остановилось после выхода первого тома (Вонлярлярский В. А. Сочинения. Том I. СПб., 1903).

В 1987 году издательство «Современник» выпустило в серии «Из наследия» однотомник избранных произведений Вонлярлярского, текст которых был научно подготовлен (Вонлярлярский В. А. Большая барыня: Роман, повесть, рассказы. М., 1987). В настоящем издании тексты (за исключением рассказа «Байя») печатаются именно по этому источнику. Там же — в Изд. 1987 — сообщаются

опускаемые здесь сведения о рукописях писателя и творческой истории его произведений, а также с благодарностью перечисляются лица, дружески помогавшие составителю. К последним необходимо прибавить Р. М. Кирсанову, любезно уточнившую для настоящего издания ряд примечаний по истории костюма.

Переводы иноязычных текстов, подаваемые в подстрочных примечаниях, принадлежат редакции.

Авторство упоминаемых в статье и примечаниях критических выступлений Е. Н. Эдельсона, В. Р. Зотова, А. А. Григорьева, С. С. Дудышкина, А. Д. Галахова и П. И. Небольсина установлено в исследованиях Н. П. Кашина («Труды Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина», сб. IV. М., 1939) и Б. Ф. Егорова (статьи в «Ученых записках Тартуского университета», вып. 78, 98, 119, 1959–1962; кн. «О мастерстве литературной критики». Л., 1980, с. 156, 161). Авторство О. И. Сенковского раскрыто в списке трудов, помещенном в I томе его «Собрания сочинений» (СПб., 1858).

Везде в книге приняты следующие сокра-

щения:

ГАСО — Государственный архив Смоленской области.

Изд. 1987 — Вонлярлярский В. А. Большая барыня. М., 1987.

ОР ГБЛ — Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.

ЦГВИА — Центральный государственный военно-исторический архив СССР.

Часть первая

В отдаленном уезде одной из западных губерний[2], на весьма неживописном берегу речки Коморца[3] и поднесь красуется усадьба, принадлежавшая некогда Петру Авдеевичу Мюнабы-Полевелову. Усадьбу эту получил Петр Авдеевич в наследство от отца своего, умершего в 18... году. Петр Авдеевич служил тогда в одном из армейских уланских полков[4] штаб-ротмистром[5] и считался ездоком[6]. Не имея ни матери, ни братьев, ни сестер, штаб-ротмистр как единственный наследник родителя почел за лучшее выйти в отставку. Он был широкоплечий малый, лет двадцати осьми, роста среднего, с красными

руками и лицом довольно обыкновенным. Волосы его были черны и жестки, лоб мал, глаза без выражения, зубы белы и ус длиннее всех усов бригады[7], в которой служил Петр Авдеевич; ус этот начинался под носом, не останавливаясь проходил мимо углов рта и терялся под самым подбородком.

Неожиданная весть о кончине родителя огорчила штаб-ротмистра; он не плакал — это правда; но не проходил мимо его ни один офицер, ни один лекарь, ни один аудитор[8], которому бы Петр Авдеевич не сказал: «А знаете ли? ведь батюшка-то умер! вообразите себе». И, высказав это, он в задумчивости брался за ус, тянул его вниз, клал его в рот и проходил далее.

Первую ночь сиротства своего провел штаб-ротмистр тревожно; но следующие менее тревожно, а чрез неделю засыпал скоро, спал крепко и просыпался в обычный час. Несправедливо было бы упрекать в нечувствительности сердце Петра Авдеевича. Сердце его с девятилетнего возраста отдано было, вместе с ним, в одно из учебных заведений и в продолжение очень долгого времени би-

лось это сердце на родительской груди один только раз. Обязанности службы и далекое расстояние уничтожали всякую возможность частых свиданий сына с отцом, а потому и смерть родителя умеренно поразила детище.

В один из майских, ясных дней 18... года перекладная почтовая телега[9] остановилась у деревянного домика сельца[10] Костюкова, Колодезь тож (так звали поместье штаб-ротмистра); с телеги соскочили покрытый грязью, небритый Петр Авдеевич и камердинер его, желтовласый детина лет тридцати. Целых пять лет не видал усадьбы отца своего штаб-ротмистр, целых пять лет не билось сердце его при встрече с знакомыми местами, с полуразвалившейся часовнею, с толстым развесистым дубом, с деревушкою, служившею предместьем Костюкову, с обрывистою дорожкой, пролежавшею по берегу Коморца, и, наконец, с самым двором усадьбы, отгороженным еловыми кольями от фруктового сада и хозяйственных строений. В этот приезд Петр Авдеевич не шептал про себя: «Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его»[11], не бросался с невольным трепетом к руке

строгого и сурового отца; он без страха вылез из телеги; но тем не менее в глазах его изобразилась глубокая печаль, и он не раз отворачивался от приказчика, прежде чем вошел в прихожую опустелого родительского дома.

— Здорово, Кондратий, здорово, Егорыч, — проговорил молодой помещик дрожащим голосом и целуя в седую голову шестидесятилетнего приказчика пошлой наружности[12]; приказчик, не успевший удержать пойманную им невзначай барскую руку, поцеловал барина куда попало и бросился отворять дверь в залу.

В так называемой зале, то есть небольшой комнате с пятью окнами, кривым полом и плетеными стульями, висел в зеленых рамках отцовский портрет: на нем изображен был Авдей Петрович в охотничьем наряде, с рогом, пороховницею, дробовиком, ягдташем [13], ножом и арапником[14] через плечо; лицо покойника и глаза смотрели прямо перед собою; ноги, обутые в длинные сапоги, выворочены были наружу; левою рукою держал он двуствольное ружье, а правую указывал собаке на сидевшего в кусте бекаса, почти

одинаковой с собакою величины. Позади охотника виднелся дом и строение Костюкова, а позади строений художник изобразил нечто среднее между небом и землею. Штаб-ротмистр приостановился у портрета, пристально посмотрел на него, и вздохнув глубоко, прошел в гостиную, из гостиной в диванную, из диванной в комнату, служившую недавно спальнею Авдею Петровичу.

— Я буду спать здесь, — сказал Петр Авдеевич приказчику, следовавшему молча за баарином.

— Слушаю, слушаю, сударь, — отвечал старик, — но покой этот...

— Батюшкин, — прибавил штаб-ротмистр, — знаю!

— Ловко ли будет, сударь?

— Как ловко ли? отчего ловко ли?

— Так, батюшка Петр Авдеевич, все думается, что скончаться изволили...

— Неужто же ты боишься, Кондратий Егорович! — заметил, улыбаясь, штаб-ротмистр.

— Бояться? чего бояться, сударь? жизнь кончили христиански, бояться грех, а все думается...

— Полно, брат, мертвые не встают; велика постлать мне на этой кровати, вот и все. Видел ли ты сына, Егорыч? — прибавил штаб-ротмистр, садясь в кресла, — посмотри, какой молодец!

— Много доволен вашими милостями, батюшка Петр Авдеевич! — воскликнул приказчик, снова бросаясь к барской руке, — кому же и беречь слугу, как не господину: я ваш слуга.

— И лихой малый, надобно правду сказать, Егорыч, проворный такой, хват, доволен очень.

— А довольна ваша милость, и я спасибо скажу, сударь. Что, пьет он, Петр Авдееч?

— То есть как тебе сказать? пить пьет; кто же не пьет? и я пью.

— Ну, слава же тебе, господи, — повторил старик с умилением.

— Разумеется, случится, выпьет, — продолжал, потягиваясь, штаб-ротмистр, — да у меня, знаешь, Егорыч, пить пей себе — слова не скажу, и пьян будь — ничего, ну, а уж дело какое случится, понимаешь?

— Как же не понимать, сударь, известно,

дело случится!..

— Вот то-то же; впрочем, грешно сказать, малый на все взять; послать ли куда, купить ли что, у полковника вечер какой, обед... принарядиться... одно — на руку не чист; положишь оплошно, не прогневайся!

— Что вы, батюшка, упаси же, господи!

— Небось думаешь у меня? нет, брат, за этакое, брат, дело, он знает... ни-ни! а вот у другого кого — мое почтение!..

— Ну, коли не у вас, батюшка, Петр Авдеич, так дело другое, а господского не тронь, не то не посмотрю, и вы, сударь, не прогневайтесь, такую трепку задам!

— Нет, нет, грешить не хочу, Кондратий Егорыч, за моим добром блюдет, как следует; нечего пустого и говорить!.. Ну, скажите же, Кондратий Егорыч, вспоминал ли батюшка обо мне, когда умирал?

— Как же не вспоминать, Петр Авдеич, ведь родное дитя и одни изволили быть у покойного барина.

— Как же он вспоминал?

— А вот говорили, бывало: «Где-то теперь Петруша? чай, по фронту или ученьем каким

заниматься изволит!» А в другой раз, под вечер, спросят карты и гадают все об вас, батюшка, и скоро ли женитесь, и какой там чин получите; а кончатся стали-с сердечные: «Воды», — говорят, воды просили, мучились жаждою и чего ни делали; нет, видно, срок пришел, сударь, от смерти не уйдешь, не спрячешься.

— Посылали ли вы за лекарем, Егорыч?

— За лекарем, батюшка? за лекарем-то, правда, не посылали; священник же, отец Аникандр, был и при самом издыхании все находился при барине!.. завидная кончина! — приказчик вздохнул, окончив свое повествование, а Петр Авдеевич предался хотя не продолжительному, но грустному размышлению.

Пока барин разговаривал с приказчиком, камердинер вытащил из перекладной телеги рыжеватый чемодан, кожаную сумку, погребец[15], обитый телячьей шкуркой, кулек с колодками[16], саблю, завернутую вместе с чубуком, и пару чудовищных пистолетов; все это разложил Ульян (так звали камердинера) на дощатом крыльце, окруженном толпою дворовых женщин и детей обоего пола. Когда

же, перешарив сено, камердинер отыскал остаток стамбулки[17], то вынул из кармана шаровар гарусный кошелек[18], достал оттуда медный пятак, бросил его ямщику, потом снял фуражку и принялся обнимать поочередно предстоявшую публику, наделяя каждого тремя полновесными поцелуями. Все это происходило в Костюкове, Колодезь тож, часов около двух пополудни. Более получаса употребил Петр Авдеевич на грустные и тяжкие размышления и воспоминания, но желудок штаб-ротмистра, не принимавший, по-видимому, ни малейшего участия в скорби сердца, шепнул наконец, что час обеденный наступил давно.

— А что, брат Егорыч, ведь поесть бы надобно, — сказал барин, обращаясь к приказчику.

— Как же, батюшка, надобно, особенно после дороги.

— То-то, Кондратий, да есть ли у вас что-нибудь?...

— Что вы, сударь, в господском доме да не найти?... все есть; прикажете позвать Прокофья?

— Жив разве?

— Что нам, старикам, делается?

— Так позови Прокофьяча, или... постой; вот что, Егорыч, потрудись, любезный, приказать ему сострипать так, что-нибудь; супу не нужно, прах ли в нем, а гуся или уточку.

— Слушаю-с, слушаю-с.

— Потом ветчинки провесной[19] нарезать этак ломтиков с пяток, да чтобы сальца не отрезывал прочь.

— Понимаю-с, понимаю-с.

— Или почек, когда бы достать можно было, так селянку[20] на сковороде с луком.

— Слушаю-с, слушаю-с, батюшка Петр Авдеич, извольте быть благонадежны, все прикажем мигом.

— Пожалуйста, братцы, поторопитесь.

— Слушаю-с, слушаю-с, — повторил приказчик, пускаясь бегом вон из комнаты, в которой остался полуутешенный Петр Авдеевич. Он потер себе руки, потом пожевал ус и, встав с кресел, принялся осматривать окружавшие его предметы. Первое, что попало ему на глаза, был шкап с книгами. Штаб-ротмистр поспешил отвести взор свой от этого

слишком живого воспоминания чего-то весьма неприятного: Петр Авдеевич никогда не мог забыть слез, пролитых им некогда над «Кратким изложением всех пяти частей света»[21]; сколько раз, бывало, в детстве своем, штаб-ротмистр ставал за них на коленях, сколько раз, чрез посредство покойного родителя, представлялся юному Петру Авдеевичу случай приходить в соприкосновение с этими драгоценными творениями, и тогда черты сыновнего лица мгновенно переменяли выражение, а желудок лишался одного или двух блюд. В настоящую минуту штаб-ротмистр удовлетворялся тем, что окинул давнишних врагов своих презрительным взглядом и, обойдя шкаф, углубился в рассмотрение нескольких картин, симметрически развешенных между изразцовой печью и дверьми.

Петр Авдеевич очень хорошо помнил, что одна из этих картинок изображала прехорошеньких детей, перепуганных внезапным появлением волка; ему, то есть Петру Авдеевичу, казалось даже, что у волка этого были красные глаза и темно-лиловая шерсть; что лапами зверь упирался на одного малютку, в

то время как морда его обращена была к другому зверю, прехладнокровно выглядывавшему из окна, и что второй зверь впоследствии должен был спасти несчастных и оказался доброю и верною собакою; все это помнил штаб-ротмистр, но рассмотреть не мог, потому что стекло, покрывавшее картинку, значительно потускнело. Петр Авдеевич поднес палец ко рту, потом потер им стекло, и действительно: глаза у волка оказались красного цвета; тот же палец поднес снова Петр Авдеевич ко рту и нова потер им стекло, и темно-лиловый цвет волчьей шерсти вышел наружу довольно явственно. Ободренный успехом, новый владелец Костюкова продолжал труд свой, и вскоре вся картинка представилась его взорам со всеми подробностями и даже с надписью. Насмотревшись на добрую и верную собаку, Петр Авдеевич взглянул украдкою на палец, поморщился, потер его об рейтузы, плюнул несколько раз на пол и, тронув мимоходом все, что ни попадалось ему под руку, прошел из спальни в залу, захватил фуражку, надел ее себе на голову и вышел на крыльцо.

Убедившись, что в последнее пятилетие на костюковском дворе не произошло ни малейшей перемены и старый бревенчатый амбар находился, как и прежде, против кухни, а молочник против ледника, штаб-ротмистр сошел с крыльца, повернул направо и направил стопы свои к калитке, ведущей в сад; тут пристала к Петру Авдеевичу худоцавая гончая собака с отвислым животом. Петр Авдеевич погладил собаку, прошел с нею весь сад, остановился на минуту у небольшого четверугольного пруда, поглазел на уток, бросил в них щепкой, за которой посылал было собаку, но собака не повиновалась; треснув ее за то ногою, штаб-ротмистр принял направление к скотному двору и прочим хозяйственным строениям. Скромную костюковскую конюшню, а равно и коровники, нашел новый хозяин пустыми: скот и лошади паслись в поле. Оставалось заглянуть на псарню и мельницу; в первой встречен был барин лаем дюжины дрянных собачонок каких-то неведомых пород; во второй колеса и крылья были поломаны, а паутина, покрывавшая шестерни, свидетельствовала о давнишнем ее бездействии.

Не очень довольный порядком, найденным по хозяйственной части костюковского управления, Петр Авдеевич возвратился домой в полной надежде, что его встретит Кондратий Егоров с тарелкой под мышкой; так, по крайней мере, водилось при покойном родителе, который не мог проглотить куска, не убедившись предварительно в том, что вся костюковская дворня присутствовала при барском обеде.

Но ошибся штаб-ротмистр: в зале не заметил он и признаков приготовлений к обеду. Петр Авдеевич свистнул — никто не являлся; свист повторился громче, и по прошествии нескольких минут послышались отдаленные шаги в сенях, потом в передней, наконец дверь из прихожей отворилась и на пороге показался нечесаный образ человеческий в казакине[22] из толстого сукна, в холстинных панталонах и в сапогах с окнами. По наружности существо это принадлежало к числу заштатных[23] служителей помещичьих домов низшего сорта.

— Прокофьич, это ты? — воскликнул барин, узнав в пришлеце старого отцовского по-

вара.

— Я, батюшка Петр Авдеич! — И повар, дрягнув ногами, отвесил поклон одною только головою.

— Постарел же ты, брат! насилу узнал, ей-богу, насилу узнал.

— Без господ жизнь плохая, барин; дело наше таковское, ребятишек много; умыть, одеть некому — месячина[24] самим вам известно какая! Была коровенка — в прошлую осень волк зарезал.

— Изготовил ли ты мне что-нибудь поесть, Прокофьич? — перебил штаб-ротмистр, знавший наизусть все прошедшие и предчувствовавший все последующие бедствия Прокофьича.

— Вот за этим-то я и изволил прийти, барин, — отвечал повар, понизив голос и вытянув шею, — ведь дело-то плоховато.

— Как плоховато?

— Как же, батюшка барин, сами рассудить изволите, приказывали изжарить то есть гуся; да ведь гуси-то, барин, какие теперь гуси? есть гуси семенные, ведь только слава, чтогу-си.

— Мне все равно, Прокофьич, пожалуй, я утку есть стану.

— Эх, батюшка барин! ну, а утки теперь какие? ведь утки семенные остались, дело осеннее, не то чтобы подать господину, а и наш брат есть не станет. Ну, сами рассудить изволите! ощиплешь перья, останется там нос какой — нибудь да лапы; приличное ли же дело? вот осенью, на заморозках, так подкормить житцей, выйдет штука!

— Так черт же побери; давай хоть селянки!

— Селянки? — повторил, ухмыляясь, Прокофьич, — селянки? да из чего же, барин, сделать-то селянку? Из почек, сказывал приказчик; а откуда возьмешь почек? вы бы, батюшка барин, взглянуть изволили на скотинку; ведь только слава, что бараны!.. а, прости господи, другой тулуп жирнее господских баранов-то. Мужичок-то несет что ни есть у него отменного, да не доходит оно до милости вашей; оттого-то и на приказчице фрезы[25] всякие, и в церкви стоит, думаешь, барыня какая; истину вам докладываю.

— Стало, есть нечего? — воскликнул выведенный из себя Петр Авдеевич.

— Отчего нечего, барин? найдется что покушать, и я милости вашей докладываю, как верный слуга, что гуси, примерно, или утки остались только семенные; не стали бы гневаться, как подашь штуку, да штука-то выйдет неподходящая.

— Дьявол вас побери совсем! этак просто с голоду, умрешь, — проговорил с сердцем штаб-ротмистр, — ну, дай хоть щей каких-нибудь, а там увидим.

— Капустки-то хватило на полпоста, батюшка, а коли приказать изволите, так можно собрать ребят да затянуть карасиков; дело-то будет сподручнее; сметанки добудем у мельника, маслица же найдется и у приказчика.

— Неужто и масла-то нет господского? — спросил удивленный помещик.

— Что и докладывать! просто не наше дело, барин! осмотреться изволите, не утаится ничего от милости вашей... а карасиков приказать нешто?

— Давай хоть карасей, да живо!

— Духом, батюшка, духом; только бы захватить старосту, не уехал бы куда, — послед-

ние слова договорил Прокофьич, затворяя за собою дверь из прихожей.

Краткий разговор с Прокофьичем усилил неблагоприятное впечатление, произведенное на ум Петра Авдеевича беспорядком, найденным им по хозяйственной части, и заронил в душу нового помещика первую искру досады.

«Как! — говорил он сам себе. — Оставить службу, оставить третий эскадрон, мундир, эполеты, товарищей! И для чего же? чтоб голодать в этой трущобе? Черт надоумил меня сделать такую глупость!»

Штаб-ротмистр засунул ус в рот, а руки в карманы рейтуз и, приподняв плеча, отправился снова в опочивальню, где, как ему было известно, хранились в конторке хозяйственные книги покойного родителя. «Ежели и в них подобное творится, так дьявол же побери!» — подумал костюковский владелец и с сердцем повытаскал из конторки все бумаги, какие попались ему под руку.

Схватив первую тетрадь, Петр Авдеевич наудачу развернул ее и, опершись обоими локтями в стол, стал разбирать следующее:

«не полон, чтобы... можно было после в него... влить... две бутылки воды... сахару десять фунтов покласть... в кастрюлю и вылить из бочонка, ставить кипятить... пену счищать, потом снять с огня, взять тридцать штук бергамотов[26]... счистить кожу, зерно изрезать и вскипятить и завязать пузырем и...»

Штаб-ротмистр гневно швырнул тетрадь под стол и взял другую, — на другой, очень узенького формата, прочел Петр Авдеевич слово *шот*[27]. На первой странице рядом с ОЗ, стояли какие-то каракули; некоторые из них напоминали цифры, другие ижицу[28].

Вторая тетрадь последовала за первой, а остальные за второй. Оставалось положиться на честность приказчика, на которую, впрочем, как казалось, не очень полагался Прокофьич.

В седьмом часу вечера костюмовский помещик уничтожил довольно большое количество карасей, запил их чаем и в девятом часу лег спать.

По прошествии недели Петр Авдеевич свыкся с мыслию, что за ним по ревизии значится сто двадцать пять душ мужеского пола,

что заложены эти души в Московский опе-
кунский совет[29], что добавочные[30] взяты
и по подушным[31] находится недоимка, что
хлеб родился плохо, а на скотине, кто ее знает
отчего, и шерсть не растет; что Кондратий
Егоров мошенник, а Прокофьич и рад бы со-
стряпать для барина суп *pure*, да для этого на-
добно «взять, сварить и как готово остудить,
мелкое мясо обобрать и изрубить помельче и
сварить восемь яичек, и взять хлеба, и короч-
ки прочь срезать, и положить чумички[32]
полторы бульону и ставить на плиту и ме-
шать, не давать кипеть, и отпускать с гренка-
ми» и проч. и проч., но ничего этого не было у
Прокофьича, а была у него только книга, с ко-
торою познакомился барин в первый день
своего приезда в Костюково, Колодезь тож, а
хранилась книга эта в отцовской конторке.

Благодаря умеренности родителя частных
долгов на имении не было, а потому, следуя
мудрому примеру Авдея Петровича, и Петр
Авдеевич мог продолжать жить, как жил ро-
дитель; на это и решился Петр Авдеевич, ко-
торый, впрочем, и не был избалован роско-
шью. Конечно, в полку, бывало, задумай

штаб-ротмистр проехаться в штаб или в другое какое место, Ульян впрягал в легонькую, как перышко, тележку, тройку таких лошадей, каких не было и у самого казначея, а хомуты-то на них надевал Ульян обшитые алым сукном, и на уздечках бубенчики, и не простые, а валдайские, чисто валдайские... Однажды полковник спросил у Петра Авдеевича: не продаст ли он тройку свою?

— Я? продам? — воскликнул штаб-ротмистр. — Я? да ни за какие блага в мире! Да вот как, и за полтораста целковых не продам!

Вот каких лошадей держал Петр Авдеевич в полку, в то время как Авдей Петрович, то есть родитель его, довольствовался только парочкою разношерстных, а ездил обыкновенно в таких четвероместных дрожках, с рыжими фартуками, что, приснись эта дрянь иному брезгливому, стошнит, пожалуй.

— Неужто у батюшки ничего не было, кроме этого коландраса? — спросил у приказчика костюковский помещик, осматривая с пригорбным вниманием четвероместные дрожки.

— Были, сударь, и беговые, — отвечал Кон-

дратий, — да покойный барин изволил их на бричку променять.

— Стало, есть бричка?

— Есть-то есть она, сударь, да плоховата!

— Покажи, братец, починим; по крайней мере, на худой конец проехать можно; а в этой штуке, — прибавил штаб-ротмистр, указывая все-таки на дрожки, — сам посуди, да что тут говорить? на ином толчке язык откусишь, пожалуй; и как-таки мог покойный батюшка трястись на них? чай, жизнь сокращать должны.

— И бричка-то, сударь, правду доложить вам, не больно взрачна. — Говоря это, приказчик бросался шарить по всем углам сарая, он заглядывал и на потолок, и за ворота, и только что не под четвероместные дрожки.

— Чего же ты ищешь, Кондратий? — спросил наконец штаб-ротмистр.

— Не знаю, куда девали!

— Кого?

— Бричку, сударь, — отвечал Кондратий Егоров, продолжая поиски свои.

— Кой прах, неужто пропала?

— Что вы, батюшка, статочное ли это дело?

господская вещь не пропадает, а може, наругом[33] кто-нибудь?

— Как наругом?

— Все Тимошкины штуки, Петр Авдеевич, такой уж разбойник, что ему бричка, не его! Да, так и есть, — прибавил приказчик, выглянув из щели задней стены сарая, — вот она!

И взорам господина представился не экипаж, а нечто вроде остова большой рыбы, у которой как бы отрублены были и голова, и хвост. За сараем, на груде разных нечистот, лежал темного цвета скелет; на круглых ребрах его местами болтались куски кожи, торчали заржавленные гвозди, а о колесах и помину не было.

— Неужто ты эту нечисть называешь бричкой? — воскликнул штаб-ротмистр, грозно занося ус свой в рот, — так-то бережется барское добро?

— Тимошка, сударь, все он, головорез, ба-тюшка, Петр Авдееч, — отвечал оторопевший Кондратий, — сколько раз говорил я ему: «Прибери, не то барин гневаться будет», и в ус не дует, сударь.

— Не дует? так подавай же его сюда, мо-

шенника! — закричал Петр Авдеевич, рассердясь не на шутку, — я его проучу по-своему, я его...

Приказчик бросился со всех ног за Тимошкой, а штаб-ротмистр продолжал строгий осмотр брички, приговаривая: «Уж я его, уж я его!» — и повторял разгневанный костюковский помещик «уж я его...», пока к тылу помещика не подошел детина лет пятидесяти с таким богатырским затылком, пред которым самые плечи Петра Авдеевича казались дрянью.

На пришедшем было пунцовое лицо с усами и нечисто выбритым подбородком; волосы его подстрижены были в кружок и прикрывали плоское темя, а на каждой из рук недоставало по несколько пальцев.

Он молча выждал, пока барин повернулся в его сторону, и, поклонившись ему, тряхнул головой.

— Поди-ка сюда, любезный! — сказал штаб-ротмистр.

Тот сделал два шага и снова остановился.

— Нет, брат, сюда, сюда поближе!

Детина сделал еще два шага.

— Ну, теперь расскажи-ка мне, что это такое? — спросил Петр Авдеевич и указал пальцем на остов брички.

— Эвто?

— Да, это, вот это!

— А прах его знает, — отвечал спокойно тот.

— Как же прах его знает?

— Да так, прах его знает!

— И ты, кучер, смеешь мне так отвечать?

— Какой я кучер, сударь!

— Да ведь ты Тимошка?

— Так что же что Тимошка? и Тимошка, да не кучер, а коли есть у кого кучер, так есть и лошади, и всякой снаряд; а то и был кучер, хороший кучер, сударь, да на эвтом не наездишься, — прибавил Тимошка, нанося ногою жестокий удар несчастному остову.

Выходка Тимошки не только не разгневала господина, а, напротив того, страх понравилась ему. Окинув взглядом формы бывшего отцовского кучера, штаб-ротмистр нашел его по себе.

Петр Авдеевич не любил мямлей, и будь хоть пьян, хоть груб, да лихой, так спасибо го-

варивал он подчиненным своим уланам; и тут, смягчив голос, он ограничился легким выговором за неисправность в сарае и небрежность Тимофея в сбережении брички.

— Да чего тут беречь? да какая ж тут бричка? да эвто же, с позволения сказать, не бричка, — возразил Тимофей, нанося вторичный удар жалким остаткам родительского экипажа. — Да ведь вольно же было покойному барину! Не докладывал я разве, что Сельской как раз проведет. Дрожки были не бричке чета, сударь, дрожки добрые; ведь эвто только название что бричка; «Нет, променяю, — говорит, — а ты молчи, не люблю, чтоб рассуждали со мною». Вот и променяли, а что наездили? двух годов не наездили, сыпаться стал; и какая езда была у покойника, ведь только слава, что езда; проедутся в церковь, бывало, вот и вся езда!

— А давно ли ты здесь? — спросил Петр Авдеевич, — и как я тебя не знаю?

— Да, я, сударь, правду сказать, не то чтобы давно как сыскался, — отвечал Тимошка, значительно понизив голос.

— Откуда же это?

— Да был грех такой, сударь.

— Грех?

— Сманили соседние ребята, так отлучился маленько.

— То есть бежал?

— Был грех, сударь, был, что уж тут, не утаишь, — повторял Тимошка, поглаживая свои волосы и переминаясь. Он видимо смутился.

Петр Авдеевич, заметивший перемену в лице Тимофея, завел речь о другом.

— Надобно добыть лошадок, братец, — сказал штаб-ротмистр, обращаясь уже с веселым лицом к кучеру, которого глаза при этом слове заблестали радостью.

— Как бы не нужно, — отвечал Тимофей.

— А где бы, например? знаешь разве?

— Еще бы не знать, барин! кому же и знать-то, сударь, как не мне, слава тебе, господи!

— И хорошие есть?

— Лошадки-то-с?

— Да!

— Да, есть и хорошие; вот об Вознесеньи проехаться в город[34], не дальнее место! и ярмарка будет важнейшая, и лошадок наве-

дут вдоволь, так и выбирать можно!

— А когда ярмарка?

— В четверг, сударь.

— Да в чем же ехать?

— Ехать в чем-то? да в чем же, как не в дрожках?

— Вот в тех, что тут вот?

— Больше не в чем!

— Нет уж, брат, спасибо за дрожки; была бы телега, в телеге скорее.

— А в телеге, так телегу соберем к четвергу, — отвечал Тимофей; и, продолжая дружески разговаривать между собою, барин и кучер направили шаги свои к дому, где ожидал первого скромный ужин, приготовленный Прокофьичем, а второго неприязненный взгляд Кондратия Егорова, самого значительного лица в Костюкове, Колодезь тож.

Кто, подобно Петру Авдеевичу, никогда мысленно не возносился к облакам, не строил воздушных замков и даже не считал себя существом, созданным для чего бы то ни было исключительного, тот легко поймет, что в сельской простой и материальной жизни всякая новинка производит на ум и сердце самое

благоприятное впечатление; и одно ожидание Вознесенской ярмарки сделало уже Петра Авдеевича благосклоннее к Кондратию и снисходительнее ко всему, что его окружало. Наговорившись вдоволь с Тимофеем-кучером, Петр Авдеевич поднес ему собственноручно большую рюмку настойки и отпустил тогда только от себя, когда сам лег в постель.

— Но где бы достать деньжонок? — думал штаб-ротмистр, засыпая, — у Кондратя есть, да не даст, мошенник. Будь еврей, а может, и есть еврей здесь где-нибудь? чтоб не забыть завтра спросить; коли же есть, так и хлопотать не о чем. Ну, а как нет? да не может быть, чтоб не было, уж такая вещь; а ведь бес-тия этот еврей, ну кого же не продаст? ведь всякого продаст... сущий каналья!.. — то была последняя здравая мысль, промелькнувшая в воображении Петра Авдеевича, после которой он и заснул крепчайшим сном.

Как ни ограничено было состояние Петра Авдеевича, тем не менее появление его в уезде не прошло незамеченным, и имя штаб-ротмистра уже неоднократно произносилось на вечерних сборищах у городничего того горо-

да, к уезду которого принадлежало Костюково и в котором в праздник вознесенья бывала большая ярмарка. Многие дивились даже, что новый костюковский помещик не взял на себя труда засвидетельствовать им лично своего почтения, и приписывали подобное несоблюдение приличий спеси молодого помещика. Истинная же причина домоседства Петра Авдеевича была, как нам известно, пара разношерстных, оставленная сыну покойным родителем, и четвероместные дрожки, на которые не хотел садиться штаб-ротмистр ни под каким видом.

Но, благодаря судьбе, в окрестностях Костюкова, на спорной земле, у пересохшей речки, в полуистлевших остатках развалившейся мельницы, отыскался жид. Жид этот явился к Петру Авдеевичу, поглазел на поля, строение, луга, на остов брички, с которою кучер Тимошка обращался так неделикатно, и уже потом, неизвестно почему, рыжий сын Израия ссудил костюковскому помещику преизрядный мешочек разной звонкой монеты, с которым и отправился штаб-ротмистр на городскую Вознесенскую ярмарку.

Редко бывает, чтобы в этот праздник солнце не восходило светло и весело, чтобы небо не было ясно и воздух не палил зноем; и на этот раз, как и всегда, день был прекрасный.

По большим и проселочным дорогам, ведущим к городу, тянулись с ранней поры вереницы телег, нагруженных всякою всячиною. Рядом с ними шли большими толпами разряженные окрестные мужики в белых холстинных зипунах и в высоких черных шляпах, обшитых золотым позументом. На крестьянках пестрелись цветные юбки, парчовые шнуровки и белые, как снег, наметки[35]. Ко всеобщему говору и крику шедших и ехавших присоединялось громкое ржание диких лошадей, табуны которых гнались по обочинам дорог, а всему этому вторил отдаленный колокольный звон, продолжавшийся обыкновенно до самого полудня; и редкий из ехавших или шедших не побывает предварительно в святом храме, прежде чем позволить себе предаться от всей души наслаждениям ярмарки, до которых так лаком наш русский народ. Как ни велики успехи, сделанные на Руси европейским просвещением, но не заметны они в

простом народном быту и едва ли Вознесенская ярмарка девятнадцатого столетия отличалась чем-нибудь от таковой же, на которой предки наши два столетия назад торговали лихих коней под доезжачих[36] своих у смуглых предков современных табунщиков.

В час пополудни на обширном поле, прилегавшем одним концом к городскому валу, а другим к длинной каменной ограде городского же кладбища, соединилось все, что шло и ехало недавно на ярмарку по всем окрестным большим и малым дорогам. В центре поля помещался главный товар ярмарки, то есть большое количество лошадей, согнанных и приведенных на нее со всех концов России. Рядом с целым фронтом приводных жеребцов, откормленных всеми неправдами, как-то: отрубями, рубленую соломою и нередко известью, стоял степной косяк[37] и на тесной площадке, огражденной плетнем, суежилась, визжа и огрызаясь, сотня разношерстных коней не знакомых ни с уздою, ни с оглоблями. Но приглянись один из дикарей кому бы то ни было, в тот же миг смуглый татарин бесстрашно бросается в стадо, ударами

ременной плетки пролагает себе дорогу, и через минуту сарканенный конь, дрожа всем телом, предстанет смиренно пред покупателем. Вокруг косяков разбросаны были кое-где поезжаные помещичьи экипажи допотопных фасонов, крестьянские тележки с разною разностию, палатки с медовыми пряниками и с прочими товарами низшего сорта, составляющими необходимую потребность скромных деревенских жителей. Поодаль от всего этого, в шалаше, построенном из ельника, помещался кабак, а в нескольких шагах от него безносая баба пекла на чугунной сковороде оладьи, и пекла она их на зеленом конопляном масле. В промежутках молодые парни играли в орлянку, а крестьянские девки водили хоровод. Кругом игравших и плясавших толпился народ; лица одних начинали уже покрываться ярким румянцем, ноги других переставали уже повиноваться, но все еще говорили, смеялись, махали руками и веселились от души.

Впрочем, поприще Вознесенской ярмарки не ограничивалось одним загородным полем, предоставленным единственно черному на-

роду и лошадям.

Высшее сословие, хотя и мешалось изредка с низшим, но местом, собственно ему принадлежавшим, был самый вал; на нем в магазинах, наскоро сколоченных из досок, заезжие купцы прельщали горожанок и помещиков роскошными батист-декосами, муслин-ленами и заграничными пу-де-суа[38]; на том же валу трактир «Берлин» заманивал блестящею вывескою своею в офицерскую палатку, где наскоро сколоченный из досок узкий стол уставлен был рябыми тарелками с бутербротом, паюсною икрою, кильками и известковыми конфетами в цветных бумажках, а в графинчиках виднелись разных цветов водки и ликеры.

Прибывший из Австрии на вал отец семейства пред входом в «Берлин» разостлал на землю довольно грязный ковер и под звуки шарманки выкидывал такие штуки, что вся публика приходила в восторг и удивление. Родитель в испанском костюме из гробового полубархата ложился на спину, подымал тонкие ноги свои вверх и подбрасывал ими младшего сына так искусно, что малютка какою

бы частью тела ни падал вниз, а все-таки задерживался на родительских ступнях; в то же самое время две взрослые девицы в коротких розовых с блестками платьях становились родителю на ладони, переходили с ладоней на лицо, даже на нос и в свою очередь подымали вверх по одной ноге, обутой хотя и не совершенно опрятно, но изысканно.

После каждой штуки австрийское семейство обходило зрителей с колокольчиком и металлическим блюдцем в руках, и зрители частью бросали на блюдце мелкую монету, а частью махали руками, отворачивались в противоположную сторону и заговаривали с соседом о вещах посторонних.

В числе лиц, составлявших публику, были и такие, к которым австрийское семейство подходило только для того, чтобы поблагодарить за честь, им сделанную своим присутствием; к избранным этим принадлежала, собственно, одна только особа; окружавшие же ее составляли нечто вроде свиты.

Особа эта была высокая, толстая, с кривыми ногами, с короткою шеєю, одетая в зеленый сюртук с красным воротником и с глян-

цевитым клеенчатым картузом на коротко обстриженной голове. Лицо особы, обтянутое точно такую же кожу, какую обтягивают обыкновенно английские седла, дышало спесью и ежеминутно наводнялось потом; пухлые губы ее одним углом ущемляли крошечный кончик сигары, а другим то выпускали по временам тонкую струйку синеватого дыма, то выплевывали или кусочек шелухи, или другие тому подобные вещи, добытые, вероятно, в «Берлине», а может быть, и в каком-либо другом месте. Веки означенной особы, осененные беловатыми ресницами, сжимались, подобно губам, а из ноздрей небольшого носа выглядывали клочки шерсти, цветом схожей с ресницами.

Несколько позади толстой особы стояло другое лицо с выражением менее спесивым, с носом более продолговатым, с щеками, выбритыми до самых глаз, и с багровою шишкою на правом виске. Это лицо облечено было в мундир с красным же воротником, но панталоны его так лоснились, что мудрено было бы определить с первого взгляда, из чего именно сшиты были эти панталоны, из

сукна или камлота[39]. По левую сторону последней особы, по направлению ноги болталась длинная шпага с покрасневшею от времени рукояткою, а на темени красовалась треугольная шляпа кокардою назад.

Каждый раз, когда особа, стоявшая впереди, делала какое бы то ни было движение, особа, стоявшая позади, вздрагивала и наклонялась вперед, но, убедясь, что движение особы, стоявшей впереди, не относилось к ней, она принимала первобытное положение и замирала вновь.

Третье существо, дополнявшее избранную группу, составляло как бы нечто среднее по значению своему между толстою особою и лицом, стоявшим позади ее. Это существо осенено было подержанным суконным плащом с полами, подбитыми черным бархатом, и с длинными полинялыми кистями, пришитыми к отложному равно бархатному воротнику; картуз существа был соломенный, из-под него выглядывали два довольно длинные виска, несколько взъерошенные. На этом существе надет был вицмундир, триковые[40] светлые панталоны и желтые полуботинки с

черными костяными пуговицами; рост его был мал, руки костлявы, а стан вообще погнут вперед и суховат. В подсохшем рту своем держал он черешневый чубук, из которого с трудом вытягивал табачный дым, затягивался им и выпускал его ноздрями; под носом у существа торчали трехдневные усы и подбородок был выбрит тщательно.

Господин этот стоял рядом с толстою особою и беспрестанно вступал с нею в разговор, что толстой особе, по-видимому, не причиняло большого удовольствия.

Толстяк был городничий, барин в соломенном картузе числился в должности штатного смотрителя училища, а треугольная шляпа принадлежала частному[41]. Поодаль от группы стояли разного рода и значения лица, отчасти городские, отчасти приезжие из окрестностей.

— Тихон Парфеныч, а Тихон Парфеныч! — воскликнул штатный смотритель, — ведь вот вы опять спорите, а как мне вам это доказать?

— Да хоть приведите целый уезд в свидетели, не поверю! — отвечал городничий, отво-

рачиваясь.

— Что уезд! хорош уезд, мне уезд не указ!

— Небошь в столице все проживать изволили!..

— Бывали и в столицах? что ж?

— Так, заметил...

— Столица — посторонняя статья, а спор идет не о столицах, Тихон Парфеныч, вы, может быть, и очень сведущи по вашей части, а не знаете, между прочим, того, что касается...

— Небошь до вашей части? — перебил насмешливо Тихон Парфеньевич.

— Смейтесь, пожалуй, ведь от этого меня не убудет; вашим добром вам же челом; вы всегда так! что не по вас, так только что не рогатиной.

— Зачем же рогатиной? рогатина в лесу — так; а при большом обществе неприлично и упоминать о ней.

— В рогатине ничего нет такого неприличного, Тихон Парфеныч, придирайтесь нечего; я говорю правду, вы всегда так... намедни у Андрея Андреича не то ли же самое произошло, только попался вам слабенький, так вы его за челку, да и скок верхом... а меня извините...

да вот, кстати, сам Андрей Андреич... Андрей Андреич! — воскликнул штатный смотритель, выходя навстречу седовласому старичку в синем фраке и в нанковых белых панталонах[42]. — А у нас с Тихон Парфеньчем спор завязался, решите, пожалуйста!

В это время седовласый старичок с улыбкою на устах подошел к городничему, протянул ему обе руки, из которых в одну только Тихон Парфеньевич, сунул два толстые пальца; тогда старичок все-таки обеими руками пожал с чувством эти два пальца и потом уже поклонился штатному смотрителю.

— А у нас здесь спор, — повторил последний, — и спор кровавый, — прибавил он шуточным голосом.

— Избави господи! — заметил, смеясь, старичок.

— Истинно кровавый; ни тот, ни другой уступить не хочет, а какво? да, нечего отворачиваться, ваше высокоблагородие, нечего отворачиваться, пожалуйста-ка на суд. — И, ободренный посредничеством третьего лица, штатный смотритель принялся было тормозить городничего, который побагровел от

негодования.

— Мы не в пожарном каком-нибудь депе, чтобы так обращаться, — проговорил сквозь зубы Тихон Парфеньевич, — говорить можно просто между собою; надеюсь!

— Знаем, знаем, в претензию вошли оттого, что не по-нашему, знаем, старая штука!

— Прошу вас оставить меня в покое, Дмитрий Лукьяныч, или вынужденным сочту себя...

— Что, что, ну что, скажите, — уже не приказать ли меня того... Полноте, стыдитесь, ведь стыдно, ей-богу, стыдно! Андрей Андреич, — продолжал смотритель, обращаясь к старику, — рассудите нас, бога ради, но только беспристрастно; каким способом достигают эти фигляры, чтобы все члены были перемешаны, вы видели?

— Видел.

— Оттого-то, Андрей Андреич, я у вас и спрашиваю, как, по мнению вашему, доходят они до того, чтобы голова...

— Он ложится на землю, поднимает руки, а на руки становится человек — вот так; сила могучая — правда, а все же неприлично при

публике, — заметил Андрей Андреевич, думая, конечно, подделаться тем под мнение городничего.

— Тьфу ты, пропасть какая, опять неприлично, да кто же спорит с вами об этом? Я спрашиваю, по какой методе, думаете вы, доходят люди до такой гибкости членов; ну примерно сказать, возьмем хоть вас, попробуй-те-ка, стоя на ногах перегнуться так, чтобы голова очутилась между ног сзади.

— Не дворянское дело, Дмитрий Лукьяныч, не дворянское дело, вот что-с!

— Да могли ли бы вы?

— Не дворянское дело, и предлагать-то подобные вещи неблагородно, Дмитрий Лукьяныч; тридцать два года служил по выборам в разных должностях, и никто из начальства не только такого предложения не делал, а и косо не взглянул.

— Да поймите же, ради бога, в чем дело, Андрей Андреич!

— Кажется, не выстарелся, рассудок не помрачен, а уж кувыркатся потрудитесь сами...

— Я говорю Тихону Парфеньичу, что гиб-

кость тела приобретается постепенностью.

— Фигляр-ом-с не был, так и не знаю, — отвечал все-таки с гневом старичок.

— Хороша постепенность, когда, с позволения сказать, затылок касается пяток, — проворчал городничий, пожимая плечами, — хороша постепенность?

— Ну, а по-вашему, что же это такое! — спросил перебежавший от Андрея Андреевича смотритель, — небось кости повынуты — а? нет, батинька, без постепенности ноги выше головы не поднимешь; постепенность до всего доведет, и быка поднимешь, и миллион наживешь.

— Вот научите, так спасибо скажем, — сказал насмешливо городничий.

— И впрямь, научите-ка, — прибавил также иронически Андрей Андреевич, — и он взглянул на городничего, который в свою очередь мигнул глазом и бросил взгляд на частного, — частный зашевелился, вытер рот рукавом и улыбнулся так значительно, что штатный смотритель чуть не плюнул.

— Смеяться и ухмыляться нечего, — продолжал смотритель, — а отложи сегодня грош

да завтра грош, когда же нибудь придет тот день, что перечесть гроши, и выйдет миллион.

— Да сколько же лет нужно служить для этого, Дмитрий Лукьяныч? — пропищал вполголоса частный, закрывая рот свой сальною перчаткою, как бы стараясь удержать порыв смеха.

Острое замечание частного так понравилось Тихону Парфеньевичу и Андрею Андреевичу, что они оба померли со смеху и, насмеявшись досыта, отправились каждый в свою сторону рассказывать знакомым о пуле, слитой всезнающим Дмитрием Лукьяновичем, который, пожав плечами, выколотил трубку свою о носок собственного сапога и, набив ее свежим табаком, сошел с вала и пустился вдоль коновязей, заговаривая с барышниками.

В то самое время, когда, пораженный острым замечанием пристава, штатный смотритель уездного училища бежал с глаз торжествующих его противников, — в двух верстах от городского вала костюковский помещик в сопровождении кучера Тимошки въезжал с

проселка на городскую дорогу.

Бог знает, каким способом Тимошка в несколько дней успел совершенно преобразовать наследственную парочку, оставленную родителем Петру Авдеевичу и сделать из нее только что не ухарскую. Пристяжная[43], круто согнутая в кольцо, вряд ли даже уступала в гибкости своей австрийскому отцу семейства, так близко несла она голову от задних ног; пристяжную управлял сам Петр Авдеевич.

Едва передние колеса тележки его перескочили с разбега чрез гнилой мостик, соединявший проселочную дорогу с большою, как с противоположного проселка, чрез точно такой же мостик, вползла на ту же большую дорогу четвероместная оранжевая коляска, запряженная четверкою гнедых, не совершенно ровных, но толстоватых лошадей. Кузов коляски этой весьма походил на померанец с вынутою из него четвертою частью. Впереди померанца на чем-то очень высоком сидел, сторбившись, худощавый кучер в голубом китайчатом армяке[44], а рядом с ним грязновато одетый дворовый мальчик в теплой шапке, надетой на самые глаза. Что же и кого за-

ключал в недрах своих померанец, того ни Петр Авдеевич, ни Тимошка рассмотреть не могли, потому что отверстие, находившееся в слишком близком расстоянии от спин сидевших спереди, завешено было чрезмерно ветхим кожаным фартуком. Желая дать вздохнуть бегунам своим, Петр Авдеевич приказал Тимошке осадить коренную и шажком следовал за коляскою померанцевого цвета; долго молча и внимательно рассматривали господин с кучером замысловатый экипаж, наконец Петр Авдеевич первый прервал молчание вопросом: на что так пристально смотрит Тимошка и знакома ли ему коляска?

— Знакома-то знакома, как не знакома, — отвечал кучер, — да идет-то она как-то чудно!

— А что?

— Да вот изволите, сударь, сами взглянуть! — Тимошка собрал вожжи в левую руку и правую указал на переднюю ось.

— Ну что же? я ничего такого не вижу, ось как ось, — заметил штаб-ротмистр.

— И сам я вижу, что ось как ось, а вот дышло-то[45], полно, здорово ли, чего бы, кажетя, вилять ему во все стороны, — ишь как

бросает!

И действительно, померанцевый экипаж, знакомый Тимошке, на каждом шагу выскакивал из колеи и заднею частью своей делал такие странные движения, что, будь он совершенно без дышла, ход его не мог быть неправильнее.

Убедясь наконец в истинной причине, заставлявшей коляску кататься во все стороны, наблюдатели наши не сочли нужным предупредить сидевших в нем и приступили — барин к расспросам об ехавших, а кучер к подробному описанию их житья-бытья.

По словам всеведущего Тимошки, *лекипаж* принадлежал вдове уездного судьи[46] Лизавете Парфеньевне Кочкиной, родной сестре городничего, купившей верстах в пятнадцати от Костюкова именъишко душ в сорок; покойник, молвят, оставил ей препорядочную кубышку с ассигнациями, которую она запрятала так далеко, что и самому городничему не отыскать; далее он сообщил, что у вдовы был сын, да ономясь[47] помер, говорят, где-то за Херсонью. Да сынка-то барыня не очень жалела, из того, что мотоват был покойник; впро-

чем, мужики на старую барыню не жалятся и работу господскую справляют исправно.

Вот приблизительно те сведения, которые успел почерпнуть Петр Авдеевич из уст кучера своего, трясясь с ним в узкой тележке по сухой и выбитой дороге, как вдруг дорога эта, свернув вправо, стала спускаться в ров, а с тем вместе и впереди катившаяся коляска начала покачиваться в обе стороны так сильно, что вальки[48] ее били пристяжных по ногам.

— Так и есть, что дышло-то треснуло! э! во-все переломилось! — воскликнул Тимошка, приостанавливая коренную.

— Что ж тут делать? — спросил барин.

— А что делать? делать нечего, — равнодушно отвечал кучер, — на этой круче хоть черта положи под колеса, не остановить; оно бы еще ничего, как-нибудь спустились бы, да под горой мостишка еле держится, перила словно гриб какой, — сгнили во-все, так, чтобы с мосту им не слететь, — вот что! — И, кончив повествование свое, Тимошка указал барину своему то, что он называл мостишкой. Глазам же Петра Авдеевича предстала картина, не совершенно схожая с описанием, и

прежде замеченный им сквозь частый кустарник ров был только первою ступенью той пропасти, с которой надлежало снестись померанцевому экипажу; по самой середине дороги змеилась извилиною глубокая рытвина, а в конце ее, над другою бездонною пропастью, гнездились то сцепление гнилости, которое на земских картах[49] обозначается громким названием моста, — а в жизни практической только что не *memento mori!*[50]

По-видимому, воззрение на вышеописанный ландшафт одинаково подействовало как на штаб-ротмистра, так и на сидевших внутри померанца. Первый крикнул от ужаса, а вторые стали кричать благим матом — дышло коляски их в самом начале ската, выскочив из гнезда своего, уничтожило расстояние, обыкновенно находящееся между вагою [51] экипажа и лошадьми, отчего вся четверня принялась бить с ожесточением.

— Пошел мимо! — крикнул повелительным голосом Петр Авдеевич, и, не дав Тимошке опомниться, отважный штаб-ротмистр, забыв всю опасность, троекратным ударом плети поднял коней своих в карьер и, направляя их

по крутому скату горы, очутился в один миг во главе несшейся четверни.

— Держи под них, — воскликнул Петр Авдеевич, намереваясь выхватить вожжи из рук своего спутника, но сметливый, как и большая часть русской братии, Тимошка схватил барскую мысль на лету и, оттолкнув легонько плечом своим его руку, проворчал: «Знаем!» — и богатырским поворотом на всем скаку положил коренную под ноги всей четверни.

Кому случалось участвовать в подобных столкновениях, тот вряд ли определит в точности, какое место занимал он в группе; то же самое случилось и с Петром Авдеевичем, и с бесстрашным Тимошкою, и с безответною парочкою его маленьких коней; все они цеплялись за что-то и освобождались из-под чего-то, тащились несколько мгновений с какою-то чудовищною массою, но наконец масса остановилась, и тысячи голосов раздались где-то вдали.

Услышав их, штаб-ротмистр, очутившийся в самой середине живописной группы и чувствовавший на теле своем какую-то неопре-

деленную тяжесть, решился пошевелить ногою, нога подалась, боли не было, — он вздохнул свободнее и двинул другою ногою, и другая цела... «Слава богу», — прошептал Петр Авдеевич и раскрыл глаза, — над самым лицом его явственно обрисовалась передняя ось коляски со всеми принадлежностями, к плечу прислонялось колесо, лошадиная нога покоилась на желудке, а правым боком касался он четырех копыт правой коренной, которая равно лежала и из-под которой торчали Тимошкины ноги.

Неизвестность об участи кучера возвратила штаб-ротмистру всю его бодрость, он приподнял голову, уперся правым локтем в землю и, освободив желудок свой из-под лоплади, стал на колени.

— Жив ли ты, Тимошка? — проговорил нетвердым голосом Петр Авдеевич, не смея взглянуть за спину правой коренной.

— Кажись, жив, — отвечал тот, — да прижала больно скотина, дохнуть не могу.

— А жив, так ладно, — воскликнул радостно барин, вскочив на ноги, усердно принялся тащить с Тимофея давившую его коренную,

рвать на ней сбрую и растягивать зубами те узлы, которых руками одолеть не мог. Углубленный в занятие свое, штаб-ротмистр не замечал происходившего вокруг него; он даже не подозревал, что глубоким оврагом, в который неслась померанцевая коляска, отделялся городской вал от того места, где ценою жизни своей готов был Петр Авдеевич искупить жизнь людей, ему совершенно неизвестных, наконец Петр Авдеевич не подозревал и того, что свидетельницею его самоотвержения была целая ярмарка и что тысячи людей окружали его в эту минуту; но штаб-ротмистру было не до них, и, пока Тимошка не оттер себе боков, не почесал головы и с помощью барина не поднялся, кряхтя, на ноги, костюмовский помещик не замечал никого и ничего.

Но Тимошка вспомнил о шапке и принялся искать шапки, а штаб-ротмистр повернул голову назад и остолбенел.

Вокруг него толпился народ, а рядом с ним, поддерживаемая каким-то толстым господином в мундирном сюртуке, стояла бледная, но красивая женская фигура с такою улыбкою на

устах, что штаб-ротмистр невольно улыбнулся сам и принялся застегивать сюртук, у которого, однако же, не оказалось правого лацкана.

— Ну, батюшка, славное вы дело сделали, сударь, да вознаградит вас бог за такое мужество, — проговорил толстый господин, протягивая руку свою штаб-ротмистру, — позвольте теперь узнать, кому я обязан спасением сестры и племянницы, — прибавил тот же господин, указывая на бледную девушку, говорившую также что-то не совсем понятное.

— Помилуйте, стоит ли? — отвечал Петр Авдеевич, продолжая искать своего лацкана. — Кучер свинья, его дело было заметить, что дышло надломано, ему поддать хорошенько...

— Но ваш поступок так благороден...

— Я случайно съехался с ними и давно постичь не мог, отчего коляска шныряет то вправо, то влево, а вышло на поверку, что дышло действительно переломлено, — поддать бы кучеру не мешало-с, право...

Но тут речь штаб-ротмистра перебита была пронзительным голосом барыни пожилой

и тощей, как смоква; она и пространно, и велеречиво выразила благодарность свою, называя Петра Авдеевича благодетелем, благородною душою и дюжиною подобных названий, на которые оглушенный штаб-ротмистр не успевал и не находилась отвечать. Но толстый господин в свою очередь перебил речь тощей барыни и объяснил Петру Авдеевичу, что тощая барыня была сестра его, а бледная девица племянница, а сам он городничий, а заключилось объяснение приглашением откушать.

Штаб-ротмистр взглянул на свой изорванный сюртук, покрытый пылью, хотел было отговориться, но городничий без церемонии схватил его под руку и только что не потащил насильно по направлению к мосту; за ними последовали: вдова уездного судьи, дочь ее, пристав с шишкою на виске, Андрей Андреевич в синем фраке и, наконец, народ, сбежавшийся с ярмарки.

Забытый всеми Тимошка, отыскав шапку, принялся с помощью барыниного кучера и нескольких зевак распутывать лошадей, ставить их на ноги, которую бить, которую гла-

дить, приговаривая то крупнее словцо, то ласку еще крупнее крупного словца, — и по прошествии двух-трех часов, померанцевый *лекпаж* и скромная штаб-ротмистрская тележка чинно въехали в шлагбаум уездного города, в котором весть о чудном спасении вдовы и ее дочери разнеслась со всеми бывальыми и небывальыми подробностями. Остается прибавить, что Тимошка, неизвестно с какою целью, но пользуясь, вероятно, благоприятными для него обстоятельствами, поручил тележку свою кучеру вдовы уездного судьи, а сам торжественно воссел на козлы померанцевой коляски.

Кому хотя раз случалось проезжать по западным губерниям, тот не мог не заметить родственного сходства большей части уездных городов. Положим, что, по дешевизне леса, количество находящихся в них каменных строений одинаково ничтожно в сравнении с деревянными; допустим, что и главные городские здания, как-то: тюрьмы, присутственные места и почтовые станции — схожи во всех городах, потому что строятся по одним и тем же планам и что для зданий этих выбираются

места одинаковые, — для тюрем городские выезды, для присутственных и почтовых домов площади и так далее. Но почему же частные обывательские дома подчинились общему закону сходства? почему же сходство это не только не ограничивается постройками, но распространяется в городах западных губерний и на жителей, на лошадей, на рогатый скот и на все животное царство, не исключая птиц?

Возьмем на выдержку любой предмет, жидка например[52]: во-первых, жид во всех этих городах неопределенного цвета; он тощ, веки глаз его без ресниц, камзол его без фалд, на пальцах вместо ногтей растет древесная кора, а темя покрыто такими вещами, которых не определит ни один естествоиспытатель. В городах западных губерний тропинки, проложенные сынами Израиля по улицам и переулкам, идут обыкновенно у самой подошвы заборов и исчезают на поворотах, потому что жид, подходя к углу дома, повертывается к нему лицом, обхватывает угол обеими руками и тогда уже переносит ногу на другую сторону. Ткани, употребляемые тамошними жи-

дами на одежду, не ткуются нигде и никогда не бывают новы; их как бы ловят они в тех океанах грязи, которыми окружены жидовские жилища, в которых гнездятся их дети и которых, наконец, не высушивает никакое солнце в мире; без этой грязи не прожил бы ни один жид ни двадцати четырех часов.

Перейдем к лошадям; конь западных городов принадлежит более к произведению зодчества, чем природы, потому что последняя влагает в него только жизнь, но формы отделяются уже впоследствии палкою; создание это редко перерастает полтора аршина, ноги его коротки, а копыта заменяются какими-то нековаными ногтями; палка и плеть, неразлучные с кожей этих лошадей, дозволяют шерсти расти только в тех местах, которые недоступны для этих орудий, а именно на глазах и внутри ушей; все же остальные части тела похожи на голенища ямских сапог, вымазанных дегтем. Кони западных губерний имеют свойство бежать только с горы, и в этом случае нередко привязанные к ним сани без подрезов[53], принимая косвенное направление, сначала перегоняют их, а

потом увлекают за собою в глубокие рвы, реки или боковые канавы. Корм этих лошадей не ограничивается овсом и сеном, с которыми они встречаются редко; их же корм служит предварительно кровом домов, а потом уже, мелко изрезанный, поступает в конский желудок. Рогатый скот походит на лошадей ровно столько же, сколько городские мещане на евреев; нечистота и неопрятность господствуют повсюду, и горе тому, кого судьба забросит в такой городок в холодное зимнее время и на долгое жительство!

Впрочем, оставим покуда рогатый скот и перейдем к герою рассказа нашего Петру Авдеевичу Мюнабы-Полевелову, которого с триумфом сопровождала многочисленная толпа от заставы до дома городничего.

На пути узнал наконец градоначальник, что спаситель родственниц его был не кто другой, как сын покойного Авдея Петровича, и на пути же передана была эта весть Андрею Андреевичу, Дмитрию Лукьяновичу и новым лицам, прибывавшим со всех закоулков и умножавшим собою свиту штаб-ротмистра; сам же штаб-ротмистр находился в самом

неловком положении; шедши рядом с городничим, он высмотрел беспорядок, происшедший в одежде его во время падения померанцевой коляски, и беспорядок этот был такого рода, что, не будь оторван лацкан у сюртука, а вместе с ним и значительная часть полы, его никто бы не заметил. Но полы не стало, и напрасно старался он соединением оставшейся полы с изорванным краем одежды скрыть происшедшее с ним несчастье, напрасно прибавлял он шагу и избегал поворотов; сопутствовавшие ему лица, как нарочно, забегали вперед, и Петра Авдеевича бросало то в жар, то в холод; но вот площадь, дощатое крыльцо городнического дома, несколько кривых ступень, и он спасен! Нет! в дверях прихожей неумолимый рок готовил нашему герою новое страшное испытание: предупрежденная кем-то супруга городничего и две дочери, очень взрослые, почли долгом приветствовать гостя, первая длинною речью, а вторые книксеном и сладчайшею из улыбок. Петр Авдеевич вспомнил о картузе своем и прикрыл им беспорядок, но городничий, подошедший с тылу, взял Петра Авдеевича за ту самую ру-

ку, которая держала картуз, и потащил в залу. Положение штаб-ротмистра становилось так затруднительно, что, не высмотрев он большого кожаного кресла в темном углу первой комнаты, он выскочил бы, может быть, в первое окно, но кресло и темнота угла представились глазам его как последнее и единственное средство к спасению, и, подобно утопающему, бросающемуся на случайно плывущую доску, он бросился в угол в кресло и внутренно поклялся не двигаться, пока не представится случай бежать. И так, сидя неподвижно, принял костюмовский помещик как новые поздравления гостей, так и вторичные уверения семейства городничего в вечной признательности за оказанную им услугу.

Все это выслушал Петр Авдеевич с достоинством и сидя; когда же в свой черед подошла к нему бледная племянница городничего и с румянцем стыдливости на лице протянула ему свою хотя и не миниатюрную, но очень пухленькую и довольно беленькую ручку, Петр Авдеевич вскочил на ноги, уронил картуз, поцеловал протянутую руку красавицы и, опомнившись, опрометью бросил-

ся в первую попавшуюся ему дверь; по счастью, вела дверь эта в канцелярию городничего, куда немедленно явился и он сам.

— Что с вами, почтеннейший Петр Авдеевич? — спросил городничий, осматривая с удивлением гостя своего, — мы уже вообразили себе, что вы занемогли, боже упаси?

— Не то чтобы занемог, — отвечал с застенчивостию штаб-ротмистр, — но находиться в дамском обществе в таком наряде, как мой, неловко как-то.

— Полноте, сударь, общество это с сегоднешнего дня вам более не чуждо, и кто же взыщет с человека, который готов был жертвовать...

— Все так, Тихон Парфеньич, а все-таки...

— И! ровно ничего, поверьте слову.

— Но...

— Что же но?

— Но, — повторил штаб-ротмистр, оглядываясь во все стороны, — вы взгляните сюда; я и не заметил сначала.

— Да, так вот что, — проговорил городничий, взявшись за бока, — ну, это обстоятельство иное, конечно, не то чтобы ловко при да-

мах; впрочем, мы делу поможем. — Анисим! Анисим! — закричал Тихон Парфеньевич, выглянув из двери, — принеси-ка, братец, мой стеганный архалук[54].

— Как архалук? — спросил штаб-ротмистр, — для кого же это архалук?

— Не тревожьтесь, почтеннейший, архалучек-то с иголочки, жена намеднись подарила.

— Сила не в новизне, а как же мне его надеть? разве просидеть здесь?

— Как бы не так.

— Так неужели я решусь показаться в нем при дамах?

— А вы думали?

— Нет уж, Тихон Парфеньич, вы меня извините.

— И дамы извинят, ручаюсь, — перебил, смеясь, городничий.

— Ну уж нет, Тихон Парфеньич.

— Не нет, а да!

— Ну уж нет!

— Посмотрим! Дарья Васильевна, Александра Осиповна, Маланья Андреевна, пожалуйте-ка сюда на часок, — закричал городничий так громко, что на зов его тотчас же ото-

звались три женские голоса.

— Что вы это, Тихон Парфеньич, — жалобно завопил штаб-ротмистр, бросаясь запира́ть дверь, — ведь этак вы меня губите совершенно, ведь этак я пропаду совершенно со стыда.

— Дарья Васильевна, пожалуйста-ка сюда, матушка, — продолжал кричать городничий, — вот в чем сила, тут вы?

— Тут, тут, — пропищали за дверью те же три женские голоса.

— Тихон Парфеньич! Тихон Парфеньич! — прошептал еще жалостнее штаб-ротмистр, — ради самого бога!

— Нет, сударь, ни за что, — продолжал городничий, — вы не хотите сделать нам чести откусать с нами, потому что...

— Тихон Парфеньич!..

— Потому что, спасая наших же, разорвали себе платье, так это, сударь, не причина, потому что я предлагал вам архалук, и дамы, верно...

— Тихон Парфеньич, согласен! но только именем создателя...

— Я говорю, что дамы, верно, присоединят-

ся ко мне, чтобы просить вас.

— Надеюсь, уверены; да как же иначе, Петр Авдеевич, все мы просим, требуем, умоляем, — раздалось за дверьми несколько пискливых голосов, и так звонко, что штаб-ротмистр пытался было отвечать им что-то, но перекричать не мог; когда же голоса замолкли, несчастный Петр Авдеевич вынужден был дать честное слово явиться в гостиную в наряде Тихона Парфеньевича.

Наряд этот немедленно принесен был Анисимом, а состоял он из штуки цветной термаламы[55], приведенной руками Дарьи Васильевны, то есть супруги городничего, в форму стеганого архалука для плеч супруга и халата для стана Петра Авдеевича. Как ни жеманился, как ни вертелся бедный костюковский помещик, подобно полипу впился в него Тихон Парфеньевич, и помощью мощных рук его штаб-ротмистр не вошел, а вдвинут был насильно в среду многочисленного общества, значительно увеличившегося во время кратковременного отсутствия хозяина и гостя.

— Мне так конфузно, что вы представить себе не можете, я бы то есть предпочел бы в

преисподнюю, — говорил, обращаясь во все стороны, Петр Авдеевич, и на это кто отвечал, что платье не делает человеком, кто уверял штаб-ротмистра, что душевные качества составляют главное убранство человека, остальное же вздор, мечта... Но эти утешения могли бы принести гостю некоторую отраду, будь только архалук Тихона Парфеньевича поуже, да не заходи талия его слишком низко на спине; на беду же штаб-ротмистра, в гостиной, как нарочно, повешены были зеркала одно против другого, и, куда бы ни направился взор его, всюду встречал он себя в самом неавантажном, в самом забавном виде[56].

«И когда подумаешь, что всему причиной проклятый лацкан, — говорил сам себе Петр Авдеевич и приговаривал: — Вот так бы кажется!..» Но спасительные для штаб-ротмистра три часа перевели всеобщее внимание с архалука его на круглый стол, уставленный закускою, и все члены общества стали переходить от гостя к кулебяке с визигою, к поджаренным печенкам, к сельдям, фаршированным ситным хлебом, к копченой любской колбасе и к водкам алого и зеленого цвета.

Многих из гостей хозяевам нужно было упрашивать откусать, а многих не мешало бы приостановить; к числу последних принадлежал Дмитрий Лукьянович в желтых ботинках, который между прочим не переставал бросать на Петра Авдеевича не совсем дружелюбные взгляды. Причина нерасположения штатного зрителя к герою нашему объяснилась впоследствии.

— Однако четвертый час, господа! — воскликнул хозяин и, вытащив изо рта завязнувший меж зубов хвостик селедки, он подвел бледную племянницу к Петру Авдеевичу, прося его занять с нею почетные места за столом.

Снова все взоры обратились на штаб-ротмистра, и снова смешался штаб-ротмистр, но все встали с своих мест, и делать было нечего; он взял девушку за руку и пошел в столовую.

Не стану описывать ни числа, ни качества блюд — скучно; обед был сытен, вина подкрашены, прислуга неопрятна, Андрей Андреевич приторен, штатный зритель весел, а бледная красавица неговорлива.

Несколько раз принимался было Петр Авдеевич заговаривать с соседкою своею; но

один мгновенный румянец был единственным ответом на вопросы гостя.

— Что же ты, Полинька, так молчалива? — заметила наконец тощая вдова уездного судьи. — Ты не красней, а отвечай на то, что Петр Авдеевич у тебя спрашивает.

— Помилуйте, Елизавета Парфеньевна! это ничего-с; зачем же беспокоиться Пелагее Вла-сьевне; я так спрашивал, чтобы поговорить что-нибудь просто, — отвечал штаб-ротмистр, которого три рюмки хереса примирили с длинною талиею архалука.

— Как ничего-с, Петр Авдеич, — возразила вдова, — учтивость требует, чтобы девица отвечала кавалеру, тем более что вы избавитель наш.

— Помилуйте-с, Елизавета Парфеньевна!

— Как помилуйте-с, я от сердца говорю, я чувствую, что говорю, и Полинька должна чувствовать.

— Но стоит ли того-с, помилуйте-с.

— Надеюсь, что стоит, Петр Авдеевич.

— Право, не стоит, Елизавета Парфеньевна, да я могу вам сказать, — продолжал штаб-ротмистр, — что у меня обыкновение такое;

раз вижу-с опасность какая-нибудь и кто бы то ни был подвергается, — уж мое почтение, чтоб выдал, с риском живота готов на опасность.

— Прекрасное свойство! — заметил соборный священник, сидевший против штаб-ротмистра.

— Какое прекрасное-с? — перебил Петр Авдеевич, — напротив, могу сказать вам, большое дурачество; право, иногда сам себе говорю и дивлюсь потом, ну, как, например, года четыре назад привели ремонт-с[57] — вот-с, выводят поодиночке, а между манежем и денником[58] такая скользкая тропинка, кобыла зашалила и ну лягаться — верите ли, приступу нет. У нас же известно... вот вы не служили в кавалерии? — с этим вопросом обратился было Петр Авдеевич к соборному священнику, но, опомнясь, перенес взгляд на другие лица; не заметив, как видно, ни одного, который бы, по его мнению, мог служить в кавалерии, штаб-ротмистр прибавил:—Все равно-с, — и продолжал:—Известно у нас, что как лошадь залягает, так уловчись только схватить ее ловко за хвост, мигом подождется, и

кончено-с; я подумал, да и хватил!

— Что же она? — спросили несколько голо-
сов.

— Она присела, голубушка, и ни-ни!

— Неужели? какая отвага!

— Отвага? пусть себе отвага! однако же
оборвись рука! или случись другое что! так
бы свистнула, что чудо! То же самое-с и сего-
дняшний случай, ну, будь гнедой ваш по-
прытче, размозжил бы лоб, и больше ниче-
го-с!

— Ох! — едва крикнула бледная красавица.

— Да упаси же бог! — проговорила вдова, и
большая часть гостей значительно перемиг-
нулась, смотря попеременно то на спасителя,
то на спасенных.

После жаркого подали шампанское, разли-
ли его по бокалам, и городничий провозгла-
сил тост Петра Авдеевича, сестры своей вдо-
вы и племянницы.

— Зачем мое, братец? — громко заметила
вдова, — мне пора умирать, а пить здоровье
тех, кто помоложе. Петр Авдеич, позвольте
вам пожелать всякого благополучия, — при-
бавила она, вставая.

— Уж не одного-с, а ежели позволите, то Пелагеи Власьевны, — отвечал, вставая в свою очередь, штаб-ротмистр.

— А так, так, так! быть по сему! — завопил городничий, и все с шумом поднесли бокалы к губам.

Дмитрий Лукьянович заметил было, что тост этот похож на свадебный, за что и ущипнул его пребольно сидевший рядом городничий... Тем и кончился обед, с которого в скором времени отуманенные гости расползлись по домам своим, предоставив гостиную градоначальника родственному кружку его, Петру Авдеевичу и неотвязчивому зрителю училища.

Промежуток между обедом и вечером посвящен был мужчинами висту с болваном[59], а под вечер собралась городская молодежь, состоявшая из так называемых приказных и женского чиновничьего пола.

Городничий предложил было повторить утреннюю прогулку по ярмарке, но штаб-ротмистр объявил решительно, что хотя и просидел в доме его целый день в архалуке, но в таком неблагопристойном виде, конечно, в на-

род не покажется и не сделает такого неучтивства, а ежели хотят, то готов он, Петр Авдеевич, повеселить всех играми и предлагает себя в коршуны.

— Ах, как это весело! — закричали дочери городничего, и в тот же миг, отодвинув Столы и стулья, вся компания как девиц, так и молодых людей построилась в одну линию, перепоясала друг друга носовыми платками и, подпрыгивая, приготовилась ко всем возможным эволюциям.

Защитником стада избран был Дмитрий Лукьянович. Штатный смотритель растопырил руки, расставил ноги и подал знак к началу. Противники оказались равными по силе; с ожесточением нападал на крикливое стадо Петр Авдеевич; с ловкостью, свойственною роли, им разыгрываемой, неоднократно вцеплялся он то в белые платья девиц, то в полы чиновничьих сюртуков, но каждый раз между им и белым платьем появлялось влажное лицо штатного смотрителя, и коршун находился вынужденным направлять атаки свои в другую сторону. «Постой же, — подумал штаб-ротмистр, — уж ты у меня чубурах-

нешься, мокрая образина», — и действительно, еще одно всеобщее движение, и штатный смотритель всем телом грянулся об пол.

Торжествующий Петр Авдеевич выхватил из рассыпавшегося стада бледную племянницу городничего; все расхохотались, но Дмитрий Лукьянович не разделял всеобщей радости и, поднявшись, пресерьезно подошел к победителю.

— Вы, государь мой...

— Что? — спросил штаб-ротмистр.

— Вы, государь мой, — повторил штатный смотритель, бледнея.

— Что же, продолжайте.

— Я бы сказал вам, но...

— Но форсу не хватает, верно, — прибавил, смеясь, Петр Авдеевич, и, бросив на противника презрительный взгляд, он подошел к перепуганной Пелагее Власьевне, которая умоляющим голосом и в весьма трогательных выражениях заклинала его не вызывать на дуэль Дмитрия Лукьяновича, возненавидевшего Петра Авдеевича, по словам ее, за то... тут красавица снова покраснела и потупила глаза.

— Как возненавидел, за что возненавидел? — спросил, не понимая недоконченной речи, штаб-ротмистр.

— Я, может быть, не так выразилась, Петр Авдеевич, — пролепетала девица, — а то мне показалось, что они сердятся на вас за то, что вы, Петр Авдеевич... со мною говорите.

— Так вот что, — воскликнул штаб-ротмистр, и с этим восклицанием он покатился со смеху. Игра в коршуны заменена была шнурком со вздетым в него колечком. Те лица, в руках которых находилось колечко, обязаны были класть фант; игра эта так понравилась всему обществу, что сам городничий, Андрей Андреевич и даже частный приняли в ней участие. Дмитрий Лукьянович, по причине сильного ушиба, отдалился от всех и из угла соседственной комнаты неприязненно поглядывал на счастливого соперника, который не удостоивал его и взглядом.

Время летело, как птица, и розыгрыш фантов заключил удовольствие вечера. Назначение наказаний предоставил себе сам хозяин дома, и, заключив фанты в свой клеенчатый картуз, Тихон Парфеньевич расположился с

ним в кресло на самой середине залы.

— Ну, смирно! — заревел он повелительным тоном, — теперь прошу садиться по местам и слушать, что я буду назначать; первый фант должен... должен проплясать трепака; да только знайте, кому достанется, не отговариваться, и в присядку, не то во время ужина засадим под стол и отпустим голодного.

— Ах, да это ужасно! да этак умереть можно от страха! — раздалось отовсюду.

— Не умрет никто, не беспокойтесь, — возразил городничий, — а что сказано, то будет сделано, и первый фант... — он вытащил мраморного цвета замшевую перчатку.

— Петра Елисеича, Петра Елисеича, — закричали, прыгая, девицы. — Петр Елисеич, пожалуйста, пожалуйста!

— Как, братец, перчатка-то твоя? — заметил лукаво городничий, будто удивленный нечаянностью случая. — Делать нечего, братец! — И Тихон Парфеньевич бросил фант знакомому нам частному приставу.

— Что же мне делать прикажете? — спросил с ужимкою пристав.

— Как, братец, что? не слыхал разве? пля-

ши трепака.

— Да помилуйте, где же мне! да как же я буду плясать? — пропищал, ухмыляясь, Петр Елисеевич.

— А уж как знаешь, только пляши.

— Ей-ей, забыл!

— Врешь, братец, врешь! давно ли я видел своими глазами через окно, как на крестинах у поверенного?... не надуешь, брат!



— Да ведь то случай такой вышел, Тихон Парфеньч, воля ваша.

— И теперь случай, да не отговаривайся; ведь не простим!

— Право, не знаю, как же это!

— Просто, братец, Дениска, скрипку! готова небось, ну кислятничать нечего! подбери-ка фалды, да и марш! — прибавил городничий.

И старый пристав, подобрав фалды, присел на пол и под звук Денискиной скрипки и громкого хохота предстоявших, проехал три раза по полу комнаты, выкидывая из-под себя ноги с невероятною быстротою.

— Ай да Елисеич, ай да молодец, — кричал городничий, — что лихо, то лихо! вот так и поддал бы тебя плеткой, словно волчок. — И сравнение городничего заслужило поощрение, выраженное всеобщими рукоплесканиями.

Отплясав свой фант, частный, шатаясь и очень довольный собою, вышел из комнаты, а Тихон Парфеньевич провозгласил обязанность второго фанта; состояла она в правдах, которые должен был сказать каждому тот,

чья вещь попадается на очередь.

— Двугривенный, — воскликнул городничий, вынимая из кармана своего монету. — Чей двугривенный?...

— Мой, Тихон Парфеиыч, — застенчиво отвечал юноша, выступая вперед.

— Твой, брат Гаврюша, что же? валяй!

— Как же мне говорить правду?

— Как знаешь, твое дело.

— Да мне совестно-с!

— Чего совестно, говорить-то правду, разве уж все дурное такое?

— Да нет-с, я не то хотел сказать, Тихон Парфеныч.

— Что же?

— Я, ей-богу, не знаю.

— Экой же, братец, ты какой мямля, Гаврила, ну подойди просто к кому-нибудь да и ва-вакни: вы, мол, такой, а вы сякой — трудно небось?

Застенчивый юноша, медленно перебирая пальцами, отправился ходить около сидевших и, остановясь противу старшей дочери городничего, шепнул ей что-то вполголоса.

— Что ты там говоришь? — спросил город-

ничий.

— Я говорю, Тихон Парфеныч, что Катерина Тихоновна очень хороша лицом.

— Довольно, братец Гаврила, остальные пусть сами отгадывают, чем бы ты их подарил, — сказал городничий, — возьми-ка, брат, свой двугривенный да садись на место; теперь очередь за третьим. Третьему, — повторил он, — быть зеркалом.

— Чудесно, чудесно, — крикнули несколько женских голосов.

— Золотая печать с сердоликом, Андрей Андреич, твоя, милости просим, — сказал городничий, — садись-ка против меня да слушай, что бы я ни делал, ты делай то же.

— Постараюсь, Тихон Парфеныч, постараюсь, только уж вы, пожалуйста, не очень, — отвечал седовласый старичок в синем фраке.

— Небось плясать не стану как Елисеич! — И градоначальник, придвинув кресло свое к усевшемуся Андрею Андреевичу, начал строить такие гримасы, от которых вся публика пришла просто в восторг. Тихон Парфеньевич вывертывал веки глаз, вытягивал уши, сплю-

щивал нос, подносил носок ноги к подбородку и, натешившись досыта, уступил место свое другим лицам. Другие делали то же; девицы грациозно приседали, кавалеры шаркали; Петр Авдеевич, взяв палку, делал военный артикул, брал на плечо, на караул, и все, к удивлению зрителей, выделявал за ним Андрей Андреевич. За фантом Андрея Андреевича последовали другие фанты, другие фарсы и, наконец, фант Петра Авдеевича: ему приказано было выбрать из всех красавиц ту, которую сердце его избрало из среды всех, и вести ее за стол...

Штаб-ротмистр выбрал Пелагею Власьевну и при оглушительном рукоплескании повел ее в столовую, где ожидал все общество жирный ужин и повторение тостов. За столом щечки Пелагеи Власьевны покрылись ярким румянцем, а штатный смотритель промолчал все время, отказался от шампанского и по окончании стола скрылся, никем не замеченный.

Гости разъехались и разошлись; сестра городничего с дочерью поместились на женской половине дома Тихона Парфеньевича, а

Петра Авдеевича не пустили в Костюково, и сам городничий отвел его в гостиную, где на диване уже приготовлена была мягкая постель и все необходимое для ночлега.

— Вы, почтеннейший Петр Авдеевич, отбросьте, пожалуйста, всякие фасыны, — сказал штаб-ротмистру городничий, — и считайте отныне и навек дом мой своим собственным, семью мою своею собственною; что же касается до дочек и племянницы, — прибавил Тихон Парфеньевич, двусмысленно улыбаясь, — так уж это атанде-с[60]! — После чего, крепко пожав руки гостя и поцеловав его два раза, хозяин пожелал ему покойной ночи, наиприятнейшего сна, осмотрел, все ли нужное приготовлено, и, убедясь, что все, вышел из комнаты и прислал к гостю Дениску.

Как ни был умственно развлечен Петр Авдеевич, а оставаясь с глазу на глаз с Денискою, он вспомнил о Тимошке и потом об несчастном сюртуке, единственном остатке своего военного гардероба. На первый вопрос отвечал Дениска штаб-ротмистру, что кучер его закусил вплотную, выпил за барское здоровье стакан-другой пенного[61] и залег на се-

новал; на второй вопрос Дениска отвечать не сумел, потому что сюртук Петра Авдеевича передан был самим Тихоном Парфеньевичем квартальному надзирателю, а для какой причины, уж этого Дениска не ведал, и сам штаб-ротмистр догадаться не мог. Отпустив Дениску с сапогами своими, Петр Авдеевич закурил трубку, выпил стакана два воды, стал сначала думать, потом дремать, а потом и спать крепким сном.

Неодинаковых, видно, свойств с Петром Авдеевичем была Пелагея Власьевна Кочкина, и хотя так же скоро разделась, как он, так же поспешно улеглась в постель, как он, однако не дремала и не смыкала глаз до утренней зари.

Пелагея Власьевна провела жизнь свою в городе у дядюшки, протанцевала, это правда, большую часть зим в доме дядюшкином же, но до настоящего двадцатитрехлетнего возраста еще не любила никого и с внутренним, тревожным, как то водится у девиц, волнением не помышляла о замужестве: брак казался ей тою прозаическою необходимостью, которой должна подчиниться большая часть де-

виц, которой в свою очередь подчинилась и мать ее, тощая Елизавета Парфеньевна, и те-тушка-городничиха; брак, по понятиям Пелагеи Власьевны, значил, во-первых, девичник, потом сбор приданого: две дюжины ткацкого белья, тафтяное одеяло, венчальное белое платье, цветочный венок, потом венчальный обряд, обед с шампанским, танцы, а там уже и муж, все равно какой бы ни был; впрочем, муж мог и не быть.

Пелагея Власьевна, как ни была несведуща о прямых обязанностях супругов, а положительно знала и слышала, что самую неприятную для жен принадлежность брака бывают мужья; не они ли всегда заставляют женщин проливать слезы, и не они ли бранятся громко, пьют много водки и не дают денег; следовательно, не тверди часто дочери Елизавета Парфеньевна, что замуж пора настала давно, что засидеться в девках стыд большой, что над старыми девками смеются, дочь и не помышляла бы о замужестве.

За Пелагеею Власьевною приволакивался давно уже Дмитрий Лукьянович и частенько наезжал к ним в деревню; Пелагее Вла-

сьевне даже казалось, что Елизавета Парфеньевна ласкает его и нередко заводит с ним речь о счастье быть искренно любимым, о неизъяснимом наслаждении для мужчины иметь близ себя всегда хорошенькую жену с томным и выразительным взором, жаждущим ласки, и что блаженство иметь от такой супруги малюток еще выше, еще благороднее; на что отвечал обыкновенно штатный смотритель маслеными глазами, которые, впрочем, он направлял не на Елизавету Парфеньевну, а на нее, Пелагею Власьевну. Но глаза эти, как ни старалась переломить себя Пелагея Власьевна, всегда наводили ей тошноту, о малютках же и о высоком благородном блаженстве иметь их от штатного смотрителя Пелагея Власьевна и подумать не могла без того неприятного чувства, от которого как будто что-нибудь налегает на самое сердце и давит его до тех пор, пока хоть вон из комнаты беги.

То ли же самое ощущала она теперь, приводя себе на память хотя и не совершенно чистый цветом, а несколько смугловатый образ Петра Авдеевича, и развязную его поступь, и

движение кистей рук, и черные усы длины безмерной, но чудесной... нет, не то, совсем не то! А как к движению тела и цвету усов присоединить геройский поступок Петра Авдеевича и опасность, которой подвергался Петр Авдеевич для нее с маменькой...

— Нет, — шептала Пелагея Власьевна в подушку свою, — этого человека я должна, я обязана любить не так, как кавалера, не так, как знаконца, а как свыше ниспосланное существо, без которого я в этот момент была бы мертвое, оцепеневшее тело, бездыханный цветок, срезанный злым роком и брошенный на большой дороге; без него сердце мое перестало бы биться, а душа отлетела бы туда! — И при этой мысли Пелагея Власьевна, невзирая на совершенную темноту ночи, поднимала взор к потолку и испускала глубокий-преглубокий вздох. Этот вздох долетал до слуха спавшей с нею рядом Екатерины Тихоновны, и Екатерина Тихоновна преравнодушно спрашивала у кузины, о чем она вздыхает и не кусает ли ее что-нибудь; на что созванная на землю Пелагея Власьевна, еще раз вздохнув, отвечала, что ее не кусает ничто; и новая ти-

шина водворилась в девственном покое, и новые мечты, одна другой отраднее, снова забродили в взволнованном воображении племянницы Тихона Парфеньевича.

По прошествии часа в воображении этом обрисовались уже картины появственнее, отчетливее, и Петр Авдеевич принимал уже в них образ довольно близкого человека, то есть жениха, а там и очень, очень близкого человека, то есть мужа; тогда встревоженная Пелагея Власьевна приходила в тревожное, но приятное состояние, сердце ее начинало не биться, а трепетать, за трепетанием следовали такие новые ощущения, которых, конечно, не произвел бы в ней во сто лет почтенный Дмитрий Лукьякович; напротив того, едва касалась мысль девушки и не самого штатного зрителя, а хотя желтых ботинок его, тотчас же сердце Пелагеи Власьевны переставало трепетать, а на новые ощущения будто наливали целую кадку холодной воды, — так неприятен был этот поворот воображения, это грубое отступление мысли от любимого предмета к ненавистному, и уже не вздох, а стон выражал мгновенное состояние души...

и на этот звук отзывалась Екатерина Тихоновна вопросом, не кусает ли что-нибудь, и хотя получала отрицательный ответ, однако ответ Пелагеи Власьевны не произносился более заунывным, раздирающим голосом, а резким, отрывистым.

Едва первый солнечный луч заглянул в неплотно завешанные шейными платками окна Пелагеи Власьевны, послышался отдаленный стук колес, и в то же время в воображении ее промелькнула страшная, убийственная мысль.

Что, если стук этот — стук колес тележки Петра Авдеевича? — очень может быть. Не желая, вероятно, нарядиться снова в дядюшкин архалук, гость воспользуется всеобщим сном и уедет к себе; он не знает, что спят не все в доме, он не знает, что есть существо, которое не смыкало глаз до утра, мечтая о нем! И, мысленно выговорив последнюю фразу, Пелагея Власьевна поспешно соскочила с кровати, подбежала к окну, сорвала платок и, отворив окно, заглянула на улицу. Но нет, слава богу, то была не она, не телега Петра Авдеевича, а несколько телег, нагруженных чем-то;

Пелагея Власьевна вздохнула свободнее, прикрепила вилками платок к притолке, возвратилась на цыпочках в постель и улеглась на ней, дрожа всем телом.

Менее чувствительный и более усталый Петр Авдеевич проспал всю эту ночь богатырским сном и только с первым ударом соборного колокола, призывавшего к ранней обедне, раскрыл глаза. В этот час обыкновенно вставал штаб-ротмистр, находясь еще на службе; в этот час отправлялся он, бывало, в манеж, но манежа не стало для отставного эскадронного командира, и потому заменил он его конюшнею, а сотню лихих строевых коней своих парюю лошадок шерсти неопределенной.

Петр Авдеевич протер себе глаза, надел сапоги, набил трубку, высек огня, закурил, затянулся как должно и, прижав большим пальцем приподнявшуюся табачную золу, осторожно вышел из своей опочивальни.

В столовой царствовал еще беспорядок, причиненный вчерашним ужином, а в прихожей на ларе покоился беззаботным сном Дениска. Из-под головы Дениски вытащил

штаб-ротмистр свою полувоенную шинель, которую, стряхнув с видимым неудовольствием, набросил себе на плеча, и вышел молча на двор.

Двор городнического дома был обширен и поместителен; на нем сосредоточивались все условия жизни, а именно: отдельная кухня, прачечная, ледник, курник, коровник, конюшня, два сарая, колодезь и отдельное деревянное здание, очень невысокое, дозольно тесное, без окон, но с двумя дверками, повешенными на кожаных петлях.

Стопы свои направил Петр Авдеевич в конюшню; тут попался ему вчерашний знакомец кучер Елизаветы Парфеньевны. Штаб-ротмистр дал ему препорядочный нагоняй и осведомился о Тимошке.

— Тимофей, батюшка, недомогает, — отвечал кучер.

— А что у него?

— Бока нешто побаливают.

— А не пьян? — спросил барин,

— Как можно, батюшка, да словом доложить вам то есть, будьте на евтот счет благонадежны.

— Отведи же ты меня к нему, может быть, кровь не мешало бы отворить, — проговорил штаб-ротмистр, собираясь выйти из конюшни; но идти далеко было не нужно: Тимошка отыскался в одном из пустых стойлов; прикрытое циновкою лицо Тимошки было так красно, а атмосфера, его окружавшая, так спиртуозна, что при одном взгляде на своего Тимошку сведущий в этом деле Петр Авдеевич мигом успокоился и, обратившись к провожавшему его кучеру в голубом кафтане, назвал его лгуном и мошенником.

— А из чего ты лжешь, из чего? — прибавил Петр Авдеевич, приостановясь, — ведь повадка у вас, братец, такая, дай, говорит, сокру... а из чего? эх!

Тут штаб-ротмистр завел речь о лошадях, расспрашивал у того же кучера, которого бранил за минуту, не знает ли он продажной тройки, на что ободренный кучер отвечал, понизив голос, что у городничего не одна, а две тройки, что коренник буланый бежит рысью, словно птица, что будь в ней маслак[62], лучшего коня и желать нельзя, да жаль, что городничий не продает своих лошадей ни за

какие деньги. Между тем и сам городничий в халате явился в конюшню и, поздоровавшись с гостем, пригласил его откусать чайку.

Возвращаясь в дом, Петр Авдеевич заметил мимоходом, что на кухонном крыльце между стоявшими и смотревшими на него дворовыми женщинами и девками одна пресмазливенькая, а из окна заднего фасада городнического дома выглядывал из-за пестрого платка карий женский глаз, — штаб-ротмистр самодовольно улыбнулся, потянул книзу длинный ус свой и, оглянувшись несколько раз назад, вошел в прихожую.

Употребив целый час на уничтожение целого самовара горячей воды с чаем, ромом и проч., хозяин с гостем приступили к туалету. Последнему подал Дениска глиняную лохань и белый фаянсовый кувшин с водою; штаб-ротмистр умылся как следует и, вытребовав с хозяйской половины старую зубную щетку, вычистил себе ею зубы; Петр Авдеевич был чистоплотен и ежедневным привычкам своим не изменял; когда же, одевши до половины гостя, Дениска вышел из комнаты, гость впал в недоумение: он вспомнил о несчаст-

ном сюртуке своем без лацкана, о низкой талии городнического архалука; первого надеть ему было невозможно, второй хотя и сделан из термаламы, однако широк чересчур: он наводил на штаб-ротмистра еще более тоски, чем первый, а как было делу помочь? чем заменить его? в чем показаться дамам? Но, видно, судьба, начинавшая со вчерашнего дня улыбаться Петру Авдеевичу, не привела еще уст своих в нормальное положение и продолжала благоприятствовать своему избраннику. Дениска возвратился в опочивальню Петра Авдеевича с сюртуком на правой руке; сюртук этот, помолодев годами тремя, предстал владельческим глазам с двумя новыми лацканами, с подкладкою, белую, как сметана; даже выпушка воротника поалела, и самый воротник, дотоле мягкий, стал колом. Позабыв свои двадцать восемь лет и чин и звание, Петр Авдеевич при виде сюртука предался такой радости, какой не ощущал давно: он смеялся, называл Дениску Денисочкою, городничего почтенным городничим и, надев обновку свою, вертелся в ней с полчаса перед зеркалом.

— Да кто же у вас, брат Дениска, такой мастер? скажи, пожалуйста, — спрашивал у слуги Петр Авдеевич.

— Жид, сударь!

— Ай да жид!

— Он обшивает барина нашего.

— Ну уж барин, — проговорил штаб-ротмистр, — подлинно сказать, что барин; ведь ты любишь барина своего, Денис?

— Любить-то любим, только иногда достается мне...

— Уж, верно, за дело, Денис, ты малой молодой... — Но Петр Авдеевич услышал в столовой женские голоса и притих.

В столовой находились уже Пелагея Властьевна, Екатерина Тихоновна и меньшая сестра ее Варвара Тихоновна, когда вошел Петр Авдеевич в помолодевшем сюртуке.

Не считаю излишним предварительно познакомить читателя с двумя дочерьми городничего, хотя, впрочем, судьбою не назначено им играть значительной роли как в свете, так и в моем повествовании.

Девицам этим природа дала сердце теплое, стан средний, но без всякой талии, и лица,

имевшие одно только достоинство: свидетельствовать пред родителем в верности к нему супруги; наружность двух дочерей Тихона Парфеньевича была верным слепком наружности Тихона Парфеньевича со всеми принадлежностями, как родовыми, так и благоприобретенными. Еще Екатерине Тихоновне не минуло двух лет, как сходство это начало сильно тревожить родителя. «Отчего бы ей быть такой красной? — говаривал часто супруге своей Тихон Парфеньевич, смотря на первую дочь свою, — ты бы, душенька, макала ее во что-нибудь, не то, черт возьми, останется такую на всю жизнь, а там сбывай ее, как знаешь!»

Нежная родительница макала малютку в вино, настоянное на бересте, смазывала деревянным маслом, курила ее гвоздиком и теми вещами, которые находят весною в вороньих гнездах; но ничто не помогало, и цвет тела дитяти продолжал пребывать красным, губки толстеть, а веки опухать и слипаться каждое утро.

С рождением другой дочери, последовавшим три года спустя родитель убедился, что

хоть лопни, а делу помочь нельзя и посмотрев пристально на Варвару Тихоновну, шепнул жене, поморщившись: «Баста, матушка!» — и вышел из дому прогуляться.

С той поры и до совершеннолетнего возраста провели жизнь свою Екатерина и Варвара Тихоновны в четырех стенах родительского дома, кушая от пяти до шести раз в сутки, ходя по праздникам к обедне, а по канунам ко всеобщей, раскладывая гранпасьянс; нередко гадая в карты и оставаясь большею частью при своих мыслях, переходили оне от карт то к белевым[63], то к шерстяным чулкам, смотря по времени года, а корсетов не употребляли вовсе. Туалет девиц ограничивался несколькими ситцевыми платьями, на которых иногда появлялись мысы, ежели таковые заводились в уезде. Волосы девиц белеватого цвета смачивались постоянно какою-то жидкостью и закалывались роговыми гребнями, тусклыми, как студень. Говорили девицы очень мало, но улыбались по временам, а случалось, и вздыхали, но о чем — неизвестно.

Городничий взирал на дочерей своих, как

взирает купец на залежалый товар, попорченный сыростию, и не только не строил на счет их никаких планов, но даже поговаривал о прелестях отшельнической жизни, о благах небесных и тому подобном. Вот почему и пришелся не по сердцу Тихону Парфеньевичу комплимент, сделанный Гаврюшею Екатерине Тихоновне при раздаче фантов, и сердце городничего нимало не оскорбилось, видя явное предпочтение, оказанное накануне Петром Авдеевичем не Екатерине и Варваре Тихоновнам, а Пелагее Власьевне. В это же утро племянница была так авантажна[64], что, при сравнении с нею дочерей городничего, последние, казалось, приобретали еще большее сходство с родителем, чем накануне.

На Пелагее Власьевне было в это утро флорансовое[65] вердепешевое[66] платье с экосезовым[67] кушаком, плотно стянутым бронзовою пряжкой рококо. Платье это не совсем доходило до плеч и, сверх того, сползло немножко, отчего самые плечики и шейка полненькой Пелагеи Власьевны казались даже сквозь кисейное канзу[68] «снежными глыбами, зарумяненными первым лучом

любви», — так выражался, по крайней мере, штатный зритель каждый раз, когда при важной okazji появлялась Пелагея Власьевна в своем вердепешевском платье.

Петр Авдеевич не обладал даром поэтических сравнений; но не менее того при первом взгляде на ту часть, которую прикрывала канзу, забыл обновленный сюртук и почувствовал усугубление чувств к племяннице городничего.

— Как провели вы ночь? — спросила едва внятно Пелагея Власьевна у гостя, отвесившего как ей, так и двум дочерям городничего по ловкому поклону.

— Как никогда-с; словно убитый какой-нибудь-с, — отвечал Петр Авдеевич.

— А я напротив, — заметила еще тише и потупив взор Пелагея Власьевна.

— Это отчего-с?

— Не знаю, право.

— Верно, испуг вчерашний?

— О, нет! напротив, не испуг, но меня мучила мысль, что я так мало благодарила вас за вашу жертву.

— Какую-с жертву?

— Вы жертвовали жизнь для спасения нашего.

— Помилуйте, Пелагея Власьевна, и в мыслях не было; неужели вы думаете, что в подобных обстоятельствах думаешь умереть?

— Я полагаю, Петр Авдеевич.

— Ничуть, верьте.

— Следовательно, — заметила девица, — вы, Петр Авдеевич, для всякого готовы были бы сделать то же?

— Без всякого сомнения, — простодушно отвечал штаб-ротмистр, — уж такая натура, и должен доложить вам, к стыду моему, что наш брат не щадит жизни, где надобно; для нас все равно, кто бы ни был в опасности...

— Следовательно, Петр Авдеевич, будь на месте нашем, то есть маменькином, — поспешила прибавить, краснея, Пелагея Власьевна, — кто-нибудь другой, посторонний, вы вчера поступили бы так же?

— Помилуйте-с, да я не знал вовсе никаких маменек, я даже сзади не видал, кто там сидит в коляске; ну а как дышло, знаете, заболталось, эге! говорю кучеру, дело-то плохо, и — марш!

Красавица глубоко вздохнула, укоризненно взглянула на Петра Авдеевича и подошла к окну; две дочери городничего, стоявшие до того неподвижно посреди комнаты с улыбками на устах, подошли в свою очередь к Пелагее Власьевне, а штаб-ротмистр, заметив в дверях прихожей Тихона Парфеньевича, вспомнил о сюртуке и бросился к нему навстречу.

Изъявления благодарности со стороны Петра Авдеевича были сильны и искренни; Тихон Парфеньевич приписал большую часть сделанного штаб-ротмистру одолжения мошеннику жиду, искуснейшему портному в городе, которому и советовал заказывать все партикулярное платье[69], с одним, однако же, условием, чтобы Петр Авдеевич купил сам материи и даже шелку; иначе жид его надует; скрепил же городничий основательность недоверчивости своей к портному жиду таким анекдотом[70], который хотя и рассказан был городничим в присутствии племянницы и дочерей своих, но первая высунулась до половины из окна, а последние закрыли лица свои платками; когда же анекдотец

кончился и городничий, смеясь, назвал девиц по имени, то племянница бросилась со всех ног из комнаты, а дочери, все-таки не отнимая платков от лиц своих, хотя и шагом, но в свою очередь последовали за племянницею.

— Дуры! — заметил Тихон Парфеньевич, смотря им вслед и оставшись с гостем вдвоем; похохотав еще несколько минут, они наконец успокоились, спросили трубки и уселись у растворенного окна столовой.

До одиннадцати часов — час завтрака — Тихон Парфеньевич с Петром Авдеевичем проглазели на соборную церковь и на площадь; первый останавливал проходивших по улице разного рода людей, над иными подшучивал, других бранил довольно серьезно, третьих посылал за четвертыми и ровно никому не говорил *вы*; о каждом останавливаемом лице рассказывал Тихон Парфеньевич Петру Авдеевичу все занимательное и наконец нечувствительно свел речь на свою службу, на свои годы и беспокойства.

— Нередко думается мне, почтеннейший Петр Авдеевич, — говорил с чувством городничий, — что годы мои уходят, жена стара, на

дочек надежды полагать не могу, умрут в девках, на кого же опереться будет в дряхлости? кто закроет глаза? с другой стороны, именишко, какое есть, ну кому я оставлю? Ведь тридцать с лишком лет служу отечеству, и за службу мою бог послал кое-какое достояние; и этот дом собственный, его перетряс я в прошлом году, не случится какого несчастья — меня переживет, а для кого? а кому придется передать? вот, сударь, как подумаешь, так и тяжело станет.

Переведя дух, Тихон Парфеньевич наблюдал за впечатлениями, произведенными рассказом его на Петра Авдеевича; но лицо Петра Авдеевича не изменилось ни на волос, и городничий, помолчав, продолжал:

— И тяжело станет, так тяжело, что и сказать нельзя; будь сын, дело иное; нет, сударь! бог обидел дочерьми, добро бы благовидными, выдал бы замуж, не посмотрел бы на состояние, будь только честные, добрые люди, состояние бог даст. И тут неудача — родились-то дочери ни то ни се, ведь, сударь, глаз не замажешь никому, и отец, да вижу ясно, не красивы; куда не красивы; что и говорить,

иной пожарный лицом-то будет деликатнее; откуда что берется: что весна, повыступят прыщи, нальются, словно бусы, а там как начнут, сударь, лопать, даже родительскому сердцу противно делается; у Вариньки же и из уха течет — беда совершенная! Уж Дарья Васильевна моя чего не делала: и калиной поила, и кору приставляла к икрам, нет, кора-то тянет себе, спору нет, а лицо все-таки мокнет да мокнет.

— Попробовать легонькую заволочку[71] где-нибудь на мягком месте, — заметил Петр Авдеевич, — или употребить прижиганьице — во многих болезнях помогает.

— Нет уж, сударь, к таким средствам родителям прибегать не идет; так я, впрочем, и рукой махнул, — сказал городничий, подтвердив слово жестом, — и всю надежду мою полагаю на сироту, сестрину дочь Полиньку.

— То есть Пелагею Власьевну?

— Да, племянницу, — повторил городничий, — девка умная, добрая, воспитанная и недурна лицом.

— Уж это точно можно сказать, — заметил штаб-ротмистр.

— Не правда ли?

— Уж точно можно сказать, — повторил Петр Авдеевич, потягивая усы свои книзу.

— Так вот, сударь, — продолжал Тихон Парфеньевич, — благослови ее бог хорошим женишком; сиротку не обижу и я; она же и своего имеет малую толику; покойный зять был работяга, жить любил с расчетцем, деньгами не сорил, а прятал копеечку на черный день. От стариков-то своих получил он, сударь, шиш, а уж собственным умом добился и чинишек, и местечка тепленького; выбрало его сначала дворянство депутатом[72], служба-то, знаете, более почетная; однако выдержал-таки в ней целое трехлетие, смотришь, из депутатов попал в непременные[73] и непременным отслужил непорочно; исправник, правда, был человек бойкий, во все входил сам[74]; члена у него как бы не было во все, ну тяжко, знаете, показалось, а выдержал Влас Кузьмич и на этом месте. Обидно было, правда, а вышло-то на поверку, что на третьи выборы исправника по шее, а Влас Кузьмич волей-неволей, а как остался честным в глазах дворянства, так и махнул в судьи. Вот те и

анекдот! Прошел год, прошел другой, посмотрим, завелись и лошадки, и колясочка, и то и се; ай да Влас Кузьмич, говорю ему, бывало, молодец, а он кивнет глазом да вытащит бумажник, покажет пачку серых[75], да опять в карман; умная была голова, и, не умри, не тем бы кончилось.

— Отчего же он умер? — перебил Петр Авдеевич.

— Отчего? — повторил городничий, — умер он, сударь, как бы то есть вам сказать? он как-то странно умер, даже очень то есть странно: был у меня накануне, играл в пикет, поужинал вплотную, выпил рюмки с две вина и пошел домой, а ночью-то и будит меня Дениска; Влас Кузьмич, говорит, приказали долго жить! Как долго жить? так-с, говорит, долго жить; я набросил шинель, да к нему на квартиру, а там уже, сударь, и катавасия; спрашиваю: как, что? — скончался, говорят, словно кто обухом пришиб...

— Верно, паралич, — заметил штаб-ротмистр.

— Верно, паралич, — повторил городничий очень хладнокровно, — тем и кончился

разговор, прерванный закускою и появлением хозяйки и трех девиц.

В полдень явились Андрей Андреевич с Дмитрием Лукьяновичем; на обоих были вчерашние костюмы; штатный смотритель поклонился всему обществу, подошел к городничему и насмешливо спросил у него, откуда добыл он двух выдр, замеченных штатным смотрителем на дворе.

— Каких выдр? — спросил городничий.

— Выдр, — повторил язвительно Дмитрий Лукьянович.

— Не понимаю.

— Ну не выдр собственно, так животных, которые очень на них походят с виду, и рост такой же, и шерсть мышьяная, и хвост метелкою, словом, выдры, совершенные выдры.

— Верно, речь идет о моей паре, — заметил, смеясь, Петр Авдеевич, которому и в голову не пришло, что речь эта клонится к его оскорблению: Петр Авдеевич был слишком доволен судьбою своею, чтобы помнить оказанное к нему накануне нерасположение штатного смотрителя, а потому и стал первый смеяться над бедными клячонками, до-

ставшимися ему от родителя. — Что походи они на выдр, так действительно походи, — прибавил он, смеясь громче с толку сбитого Дмитрия Лукьяновича, — и езжу-то я на них потому, что покуда нет других лошадей у меня.

— Стало, нужны вам лошади? — спросил городничий.

— Нужны? да так нужны, что смерть.

— А нужны, так есть.

— Как есть?

— Так! есть.

— Где же это?

— У меня на конюшне, — сказал, улыбаясь, городничий.

— Неужто буланый рысак?

— И за буланого не постою.

— Что вы это, Тихон Парфеньич?

— Да уж делать, так делать по-русски, а не чакрыжничать[76], и вот вам рука моя, сударь, что подобной тройки, какую дам я вам, не найдете в целой губернии, Петр Авдеич.

— Да что же вы за нее возьмете, Тихон Парфеньич? — спросил с внутренним волнением штаб-ротмистр.

— Что возьму? да что дашь, можно сказать, что дашь, — спросил городничий.

— Черт меня возьми, если я что-нибудь понимаю, — проговорил Петр Авдеевич, не слушая городничего.

— Это значит, дорогой мой, — продолжал торжественно Тихон Парфеньевич, — что ты пришелся мне, старику, по сердцу, а придись Тихону кто по сердцу, так Тихон отдаст ему не только тройку лошадей, а старуху свою отдал бы, да никто не возьмет, — прибавил хозяин, и все общество, за исключением штатного зрителя, покатилося со смеха. После чего городничий взял Петра Авдеевича за руку и повел в конюшню. Андрей Андреевич последовал за ним, а позеленевший Дмитрий Лукьянович почесал себе нос, кашлянул несколько раз и, стараясь принять спокойное выражение, подошел к сидевшей в углу Пелагее Власьевне и попросил, злобно улыбаясь, позволения сесть возле нее.

— Стулья не мои, — отвечала не совсем благосклонно Пелагея Власьевна.

— Вы, кажется, не в приятном для меня расположении сегодня?

— Как всегда, я думаю!

— А я думаю иначе.

— Как вам угодно!

— Мне угодно думать иначе.

— Думайте себе, никто не мешает, — отвечала Пелагея Власьевна, отворачиваясь.

Посидев с минуту, Дмитрий Лукьянович заметил ей, что она очень авантажна сегодня и особенно принарядилась.

— Для вас, разумеется, — отвечала презрительно девушка.

— Может быть, наряжались прежде, — повторил смотритель, — а сегодня...

— Что же сегодня?

— А сегодня нарядились, да не для меня; знаем-с мыс-с.

— Что вы знаете?

— Уж знаем-с.

— А знаете, так тем лучше для вас.

— Да для вас-то хорошо ли, Пелагея Власьевна? — спросил, покачивая головою, штатный смотритель.

— Это еще что такое? — воскликнула с гордостью Пелагея Власьевна.

— То, сударыня, что, будь я на вашем ме-

сте, я бы просто сгорел, я бы умер со стыда, не только поднимал бы голову; ну что же я? мое суждение для вас совершенный плевок; но весь город и говорит, и судит, и рядит и...

— Городу нечего видеть!

— Нечего видеть? — протяжно повторил Дмитрий Лукьянович, — нечего видеть, когда вчера при всем народе он идет вперед, а вы сзади; еще бы пускай шел бы, прах с ним; а то идет, с позволения сказать, растерзанный, словно подрался где-нибудь на ярмарке с ямщиками, сюртук разорван, разорвано везде, стыдно, сударыня, стыдно! и было бы с кем идти, — продолжал Дмитрий Лукьянович, — а то невесть откуда взялся, и кто он такой, и что он? бродяга, выгнанный вон из службы за неприличное поведение, за буйство какое-нибудь; в долгу, как в шелку, ездит на выдрах с мошенником, которого я знаю давно; да только сделай меня становым[77], так я его, фирса этого, так обласкаю, что...

— Вы, вы? — проговорила едва внятно от гнева Пелагея Власьевна, — осмелитесь так поступить с Петром Авдеевичем?...

— А что же он такое? уж не паша ли ка-

кой?

— Вам быть становым? — продолжала, усилив голос, раздраженная девушка, — да разве дядюшка с ума сойдет, что даст вам это место; да я ему скажу, какой вы человек! да это просто стыд и срам дядюшкиному дому, что вы позволяете себе говорить «бродяга, растерзанный», да Петр Авдеевич не в пример лучше вас, и сравнения никакого нет, и мизинчика вы его не стоите, а взглянуть, так куда же, просто как небо от земли...

— Небось он как небо? — спросил презрительно штатный смотритель.

— Уж не вы ли?

— И не он, будьте спокойны.

— Уж конечно, он скорей!

— Ну уж нет.

— Ну уж да.

— Ну уж нет.

— Я вам говорю да, да, да; а вы — больше ничего, как...

— Кто же?

— Так, ничего, — сказала Пелагея Власьева, отвернувшись от своего собеседника.

— Нет-с этого нельзя, сударыня, начали,

так извольте кончить!

— Не хочу кончать.

— Не хотите, так не прогневайтесь!

— Боюсь я ваших угроз!

— Увидим-с.

— И увидим, что не боюсь!

— Пусть только дядюшка ваш возвратит-ся...

— Что же вы дядюшке скажете? вот дядюшка; ну, говорите, что вы скажете, а я так скажу! — И последние слова проговорила племянница с намерением так громко, что вошедший в сопровождении штаб-ротмистра и Андрея Андреевича городничий прямо подошел к ней и, посмотрев с недоумением сперва на племянницу, а потом на штатного зрителя, спросил, о чем идет у них речь и что она скажет ему?

— Мы-с, Тихон Парфеньич, промеж собой так немножко спорили, — перебил Дмитрий Лукьянович.

— Нет, уж конечно, не немножко, дядюшка, и очень много, — сказала Пелагея Власьева, — и Дмитрий Лукьянович назвал Петра Авдеича *фирсом!*

— Фирсом? — повторили в один голос и городничий, и Андрей Андреевич, и Петр Авдеевич, и даже Дарья Васильевна, вязавшая пресурдно сетку и не обращавшая, как и дочери ее, на разговор племянницы с штатным смотрителем никакого внимания.

— Да что же значит фирс? — спросил штаб-ротмистр, — я век не слыхал!

— И я! — сказал городничий.

— Да помилуйте-с, да помилуйте-с! — завопил, заикаясь, штатный смотритель, — да что же может значить это слово?

— Однако ты сказал его; так, сударь, хочешь не хочешь, а объяснить должен, воля твоя! — заметил городничий.

— Вот извольте видеть, Тихон Парфеньич, Пелагея Власьевна изволили подшутить надо мною, а я над нею, вот я и скажи *фирс*, — лгать не стану.

— Полно, так ли?

— Ей-богу, так сказал!

— Что-то не ясно, ведь не ясно, Петр Авдеевич?

— Да, не ясно, Тихон Парфеньич, и чудится мне, что фирс не то чтобы простое слово, а

чуть ли не бранное какое, — сказал штаб-ротмистр, хмурясь и подходя поближе к Дмитрию Лукьяновичу, который видимо менялся в лице.

— То ли еще говорил Дмитрий Лукьянович, — прибавила, внутренне торжествуя, Пелагея Власьевна, — он говорил, что, получи он только место станового, тотчас же приласкает!..

— Кого приласкает? — воскликнул гневно городничий, взявшись за бока. — Уж не тебя ли, Полинька?...

— О нет, дяденька, не меня!..

— А не тебя, так пусть его, нам дела нет.

— Как, дяденька, дела нет?...

— Неприлично и вмешиваться тебе, Поля, в такие дразги; ласки в сторону, а фирса подавай сюда, уж я, сударь, не отстану.

— Да помилуйте, Тихон Парфеньич, — проговорил, вставая, штатный смотритель, которого слишком близкое соседство Петра Авдеевича начинало сильно беспокоить, — вот вам Христос, что и в помышлении не было ничего обидного, напротив того, слово фирс — прекрасное слово, как честный человек. Да что

же такое фирс? да называй меня хоть в самом присутствии кто хочет этим словом, я то есть за особенное удовольствие почту, ей-богу-с!

— А коли так, — перебил, смеясь, городничий, — так давайте же, господа, называть его Фирсом Лукьянычем и посмотрим, будет ли имя это ему по нутру.

— И... извольте-с, извольте-с!

— Да нет, сударь, этого мало, и людям всем, и частному, и пожарной команде всей прикажу называть тебя так.

— Я с пожарной командою-с знакомства не вожу, Тихон Парфеньич, — заметил обиженный смотритель.

— Да ведь вы же говорите, что фирс так себе, ничего!

— Промеж собою, конечно, ничего, в благородном обществе, ну а пожарная команда, — вы меня извините.

— Эге, братец, вы, мне кажется, сбиваться извольте?...

— И мне кажется, — заметил штаб-ротмистр.

— Ничуть-с, ничуть-с, — подхватил Дмитрий Лукьянович, — и ежели вы, почтенней-

ший Тихон Парфеньич, непременно этого желаете...

— И желаю, сударь, не хочу скрывать, Фирс Лукьяныч.

Новый хохот раздался в столовой городничего; хохотал и сам Дмитрий Лукьянович, хохотали даже дочери Тихона Парфеньевича; но смотритель смеялся желчно, а девицы — прикрыв лица платками.

За обедом все, исключая, однако же, Елизаветы Парфеньевны, которая не выходила из своей спальни по причине зубной боли, Пелагеи Власьевны, которая лукаво и молча поглядывала на смотрителя, Дарьи Васильевны и двух дочерей ее, относясь беспрерывно к Дмитрию Лукьяновичу, честили его Фирсом, и даже Дениска, из послушания к барскому приказу [78], подражал господам, но в этих случаях закрывал он себе рот прегрязным обшлагом.

Едва кончился обед, как штатный смотритель, проклиная внутренне и хозяина, и гостей его, взялся за желтый картуз свой и бежал, не оглядываясь, из дому. Отойдя шагов двадцать, он остановился, оглянулся назад и,

увидев в окне головку Пелагеи Власьевны, приподнял было голову, может быть, с намерением не совершенно для нее благим, но в то же время и в том же окне показался длинный ус штаб-ротмистра; рассмотрев этот ус, голова Дмитрия Лукьяновича мигом отвернулась назад, а сам он прибавил шагу и скоро скрылся за аптекою, стоявшею на углу переулка, ведущего в ров.

В тот же вечер часу в седьмом под крыльцом городнического дома стояла уже тележка штаб-ротмистра, запряженная, но не парочкою знакомых нам кляч, а лихою тройкою, из которых коренная была тот самый буланый рысак, которым в это же утро так любовался Петр Авдеевич.

Общество городничего, преувеличенное присутствием Елизаветы Парфеньевны (отчего в комнате запахло камфорою), собралось в гостиной, и на всех лицах изображалось то чувство, которое нераздельно бывает с лицами, провожающими в путь близкого человека. Вдова покойного Власа Кузьмича, поблагодарив в одиннадцатый раз штаб-ротмистра за спасение ее и дочери от неминуемого увечья,

приглашала его к себе в деревню, уверяла, что посещение Петра Авдеевича будет для них истинным праздником, что знакомство его, начатое таким чудом, верно, есть предназначение и что Полинька согрешит пред богом, ежели наяву или во сне хотя на один миг позабудет своего избавителя; на что Петр Авдеевич нагородил кучу всяких непонятных вещей, наплел целый короб допотопных комплиментов и, поцеловав все женские руки, принялся обнимать городничего. Когда же штаб-ротмистр сбежал с крыльца и молодецки вскочил в тележку, Тихон Парфеньевич еще раз крепко пожал ему руку и воскликнул с чувством: «Эх, брат, Петр Авдеевич, сказал бы я тебе сокровеннейшую из моих мыслей, пламеннейшее из желаний, да нет, не скажу, поезжай с богом!» И, махнув рукою, он вошел обратно на крыльцо, а Тимошка снял шапку, поклонился сидевшим у окон господам, потом надел ее себе набекрень, подобрал вожжи и свистнул так, что даже Варваре Тихоновне было слышно, потом помчал Петра Авдеевича во всю конскую прыть.

— Тише, бешеный, — крикнул ему вслед

городничий; но голос его не долетел уже до Тимошки, и все затихло, как на площади, так и в самом доме Тихона Парфеньевича.

Долго и в грустном молчании просидела у окна Пелагея Власьевна, вперив взор свой по направлению заставы, в которую давно уже выехал милый сердцу ее; и сколько дум, одна другой неопределеннее, одна другой замысловатее, теснилось в воображении девушки, пока Елизавета Парфеньевна не напомнила ей, что сидеть нечего и давно пора снять вердепешевое платье.

Вечер в доме городничего прошел без игр, без фантов, без смеха и радостей, и все они заменены были разнообразными гаданиями в карты и бесконечными гранпасьянсами. В гаданиях Пелагеи Власьевны играли главную роль трефовый король и червонная дама. Если ложились они рядом, восторг девушки не имел границ; она краснела, целовала Вариньку и мешала карты, когда Андрей Андреевич или городничий спрашивали о причине восторга. Зато замешайся в гадании дама треф или бубен и ляг она между первыми, гадавшая сдвигала брови, ротик ее кривился и

гневно швыряла она посторонних дам под стол, называя их мерзкими и прочими именами, крайне обидными для прекрасного пола.

Жребий, казалось, был брошен, и в сердцах наших героев с минуты первой встречи затеплилось то чувство, которое на всех наречиях мира имеет по крайней мере сотню подразделений; и как искусно чувство это люди умеют приноровить к обстоятельствам; например, если упадет оно в сердца молодых людей различного пола, но равных по состоянию и положению в свете, никто не помешает им увенчать его узами брака, и люди во всеуслышание называют его любовью. Если это же самое чувство мужчина будет питать к девушке, низшей по положению своему в свете, то оно называется капризом, к замужней женщине — преступною страстью; в тех же случаях, где супружеские обязанности делают полное сознание невозможным, супруг или супруга облачают чувства свои к посторонним лицам невинным названием симпатии, дружбы бескорыстной, душевной склонности, доступной всем возрастам даже одинакового пола.

Пелагея Власьевна не трудилась над изысканием приличного названия своему чувству к Петру Авдеевичу, а гадала просто: выйдет ли она за него замуж, и скоро ли брак их совершится, и не помешает ли соединению их злая женщина, вдова, то есть пиковая дама, и не предстоит ли трефовому королю какой дороги или интересу? и получит ли червонная дама исполнение своих желаний, и исполнение это будет ли полное, или помешает ему быть полным восьмерка пик. Но восьмерка пик хотя и ложилась у ног червонной дамы, но разделяла ее от дамы девятка бубен и десятка червей, что значило большой интерес для дамы; но в чем именно состоит этот интерес, то могла определить только супруга Петра Елисеевича, но она находилась в отсутствии и гостила в имении богатой графини Белорецкой у управляющего, верстах в тридцати от города.

Три раза сряду ложилась восьмерка пик к ногам червонной дамы, и столько же раз то девятка бубен, то десятка червей мешала ей делаться горючими слезами. Заинтересованная до крайности обстоятельством этим, Пе-

лагея Власьевна, которая, разумеется, не могла же приписать его случайности, напрасно обращалась то к Екатерине, то к Варваре Тихоновнам; получая далеко не удовлетворительные объяснения, она решилась наконец тихонько подозвать к себе Андрея Андреевича и шепотом спросить у него: что бы это значило?

— Позвольте, — отвечал протяжно и призадумавшись Андрей Андреевич, — точно так, припоминаю, это было до французов, покойница моя загадала однажды, о чем бишь? да! проболела она тогда месяцев с четырнадцать странною болезнию, толстела как-то, и так толстела, что лекаря и теща покойница говаривали, бывало, каждый раз, как придут: послать бы за бабкою, скоро, должно быть... какое же скоро, посудите сами, четырнадцать месяцев; впрочем, Пелагея Власьевна, — прибавил, подумав хорошенько, Андрей Андреевич, — не могу вам утвердительно сказать, точно ли под ногами у жены моей была восьмерка пик, ведь сколько времени прошло с тех пор! — И, глубоко вздохнув, Андрей Андреевич возвратился к своему месту,

а Пелагея Власьевна начинала новое гаданье, кладя ребром попеременно то трефового короля, то червонную даму.

Выскакав вихрем на столбовую дорогу, миновав мост и поднявшись на знакомую нам крутую гору, Тимошка осадил лошадей, соскочил на землю и, погладив коренную, поправил на ней хомут, подтянул шлеи и, налюбовавшись досыта новыми бегунами своими, обратился к барину с вопросом, сколько взял с него за тройку городничий. Три дня провел Петр Авдеевич довольно скучно; он мало ходил, ел и спал меньше обыкновенного, на четвертый...

— А тебе на что знать? — не совсем ласково отвечал штаб-ротмистр.

— Я так спросил.

— Твое дело смотреть за лошадьми да не напиваться, как стелька, в чужом доме.

— Выпил с ушиба, беда невелика, — проворчал сквозь зубы Тимошка, подкидывая под себя верхний армяк свой, — и теперь еще руки порядком поднять не могу.

— Не разговаривать у меня! — воскликнул полугневно штаб-ротмистр.

— Чего мне разговаривать?

— Ну!

— С ушибу всякий выпьет.

— Пошел! — крикнул Петр Авдеевич, и тройка снова помчалась по столбовой дороге, обсаженной с обеих сторон ветвистыми берегами.

В глазах Петра Авдеевича мелькнул сначала первый верстовой столб, потом немного погодя мелькнул второй, за ним показался вдали знакомый мостик; смотря на него, штаб-ротмистр вспомнил о померанцевой коляске, о вчерашнем дне и кое о чем другом; ему чудным казалось странное сцепление всего, случившегося с ним в такое короткое время, и не постигал Петр Авдеевич, отчего ему стало как-то неловко; печали не было никакой, на небе туч густых не собиралось, жар не палил, не теснил груди; напротив, веяло в затишье перелеска прохладою, пахло березкою, и лист не колыхался на деревьях; все было тихо, и на каждом шагу в соседних кустах то свистал соловей, то кричал коростель, и вся природа как будто смеялась.

Всего этого и не заметил штаб-ротмистр,

не заметил он и того, что пристяжные его вытягивались и едва не касались брюхом земли, а коренная бежала рысью и не сбивалась; о чем же думал костюковский помещик, о чем мечтал отставной и беспечный до того штаб-ротмистр?

По приезде в Костюково, Петр Авдеевич приказал было позвать Прокофьяча; но потом, раздумав, отменил приказание и, не дождавшись ночи, разделся и лег в постель; в постели вместо одной трубки выкурил он три и заснул часами двумя позже обыкновенного; мысли его, волнуясь, так перемешались, что если бы вдруг кто спросил у него: «О чем вы думаете в эту минуту, Петр Авдеевич?» — он бы отвечал: «Ей-богу, и сам не знаю; чушь какая-то; то мне чудится городничий, то Пелагея Власьевна, то фанты, то Петр Елисеич и гнилозубая вдова судьи, даже дочки городничего, — что бы, кажется, мне думать об них? нет, и те лезут в голову с своими рожами, и голова моя болит; заснул бы, кажется; нет, закроешь глаза, опять чушь, выпил бы водки, боюсь, приключится болезнь, горячка какая-нибудь». Вот что отвечал бы штаб-рот-

мистр, пока глаза его не закрылись, чубук не выскользнул из рук и ровные вздохи не замесились продолжительными, равномерными же звуками, напоминавшими кузнечный мех или медленные повороты немазаного колеса нагруженной телеги.

Тут освобожденное от городничего, сестры и дочерей его воображение штаб-ротмистра деятельно принялось за обрисовку главного предмета, и предмет этот в канзу и вердепешевом платье ясно выступал вперед со всеми прелестями зрелого возраста, со всеми пышными формами молодости и свежести.

Дивная, чудная вещь — сон! но зачем же человек лишен способности сохранить во время сна разумную волю свою? При виде несметных сокровищ, брошенных сном во власть бедняка, почему не предоставлено ему право расточить их и выкупить роскошью сна свою всегдашнюю нищету? тогда и Петр Авдеевич, пользуясь внезапным появлением канзу и вердепешевого платья Пелагеи Вла-сьевны, конечно, не ограничился бы немым созерцанием ее прелестей, а подобно восьмерке пик бросился бы к ногам ее и отстра-

нил бы все препятствия, разделявшие его с нею, хотя бы препятствия эти состояли из десятки бубен и десятки червей.

Но неизменны законы природы, — и в семь часов следующего утра Ульянов приходом своим пробудил штаб-ротмистра, поднес ему раскуренную трубку, а на пододвинутый к кровати стул поставил зеленоватого стекла стакан с коричневым чаем; а вследствие той же неизменности законов природы и штаб-ротмистр протер глаза и, приняв из рук Ульянова трубку, затянулся раза три и стал прихлебывать чай.

Но мы увлеклись подробностями, касающимися одного только лица рассказа нашего, в то время как другое, по совести, заслуживает гораздо большего участия. Новое чувство, пробужденное в груди Пелагеи Власьевны, изменило не только некоторые привычки, но все существо ее; возвратясь из города обратно в Сорочки (так называлось село Елизаветы Парфеньевны), на другой день по выезде Петра Авдеевича, Пелагея Власьевна вбежала в свою комнату, бросилась на постель и зарыдала горько; она сделала бы это прежде, но

мешали ей Екатерина и Варвара Тихоновны. Любовь к Петру Авдеевичу возгорелась в сердце двадцатитрехлетней и полненькой Пелагеи Власьевны точно так, как возгорается в жаркий день соломенная деревенская крыша. Сердечного пожара девушки не пытался затушить никто, а собственных средств не доставало у Пелагеи Власьевны, вскормленной сливками в недрах простого и полудикого семейства, в глуши лесов, далеко от просвещенного мира, где к постепенному развитию женского сердца не прививается холодный расчет, правильная оценка всего на свете и та способность управлять собою, которая называется тактом или *esprit de conduit*. Пелагея Власьевна не знала, что существует для светских девушек нечто выше счастливой любви, что даже замужество с дряхлым стариком предпочитается всякому другому, если этим замужеством девушка приобретает *une position brillante*[79].

— Несомненно; мужчина всегда хочет, милая, а ты недурна, сама знаешь, — прибавила ласково Елизавета Парфеньевна. — Вот как приедет, верно, приедет, принарядись хоро-

шенько, вели Анютке приготовить голубенькое; оно тебе к лицу, да не завертывайся в платок, а просто на плечи накинь что-нибудь легонькое; теперь погода теплая, можешь пригласить гостя в рощу, никто не мешает, будто грибов ищешь, да и тарара, тарара!

Ни о чем подобном не намекала ей никогда Елизавета Парфеньевна; напротив, мать твердила дочери, что очень кобениться нечего и выбирать женихов не из кого, а за Дмитрием Лукьяновичем жить можно припеваючи, что, покуда девица бела да румяна, надо спешить, а покажутся складки на висках да, упаси господи, полезут волосы, тогда и рада бы выйти, да никто и посмотреть не захочет.

В таких рассуждениях проходили длинные вечера в селе Сорочках; к ним и привыкла Пелагея Власьевна, а все-таки за Дмитрия Лукьяновича выйти не решалась, потому что Дмитрий Лукьянович был ей решительно противен.

Когда же останавливался в уездном городе полк, то в благородном собрании встречались Пелагее Власьевне офицеры; были между ними и молодые, были и хорошенькие, даже

один майор прогостил у них в деревне целое лето и делал часто разные намеки; но, объяснившись раз с Елизаветою Парфеньевною, приказал заложить лошадей и уехал очень сердитый. Пелагея Власьева не любила майора, а потому и долгое пребывание его в деревне не оставило в ней никакого воспоминания; встреча же с Петром Авдеевичем была дело совсем другое: во-первых, отважный поступок его; во-вторых, скромность, с которою отстранял он всякую благодарность; в-третьих, явное внимание к ней одной во время игр, взгляды штаб-ротмистра и мужественный вид его, глаза, усы, — да все, да просто все!

К вечернему чаю явилась Пелагея Власьева с красными и опухшими глазами.

— Ты плакала, матушка? — спросила мать, — вижу, что плакала.

— Это так, маменька, ничего, — отвечала Пелагея Власьева, утираясь платком.

— Так ничего, что и нос распух; взгляни-ка в зеркало, — страшно, сударыня.

— Право, ничего, маменька.

— Ты, пожалуй, выйдешь так при гостях,

чего доброго? разодолжишь просто!

— Это пройдет.

— Пройдет, пройдет, а слезы-то так и текут. По каким причинам, сударыня? скажите, пожалуйста, уж не влюбились ли?

— Ах, маменька! — проговорила Пелагея Власьевна, напрасно стараясь удержать новый слезный поток, который, струясь вдоль носа, распространялся по всей нижней части лица. — Ах, маменька, зачем вы это говорите?

— Затем, моя милая, чтобы ты не наделала глупостей; а влюбилась, плакать нечего и выделывать из лица своего бог знает что не нужно; старайся понравиться, будь весела, любезна; во время прогулок не молчи, как давеча, не отнекивайся, а разговаривай, шути; быть судьбе и будет; девка ты в поре, засиживаться нечего; захочешь — понравишься.

— Да захочет ли он, маменька?

— Не знаю, сумею ли, — заметила со вздохом Пелагея Власьевна.

— Сумеешь, матушка, не география какая, ломать голову не нужно, и я была молода, да как затеяла замуж, покойник-то отец твой, не тем будь помянут, не чета был Петру Авдее-

вичу, и годами не ровен, и складом так себе! а захотелось, говорю, понравиться; месяца не прошло, свях заслал к нам в дом.

— Неужели, маменька, и со мною то же может случиться? — спросила, улыбаясь, Пелагея Власьевна.

— И так-таки может случиться, как нельзя лучше, — отвечала мать, — выждем денька четыре; не приедет, напишу брату, чтобы он к нему съездил да привез. Впрочем, — прибавила, подумав, Елизавета Парфеньевна, — быть не может, чтобы не приехал сам; я звала его, и, помнится, он сказал: «С удовольствием», стало, приедет.

Последние слова матери несколько успокоили тревожное волнение Пелагеи Власьевны, и она с нежностью поцеловала материнскую руку и в угождение ей выпила нехотя две чашки чаю и скушала половинку домашнего кренделя, потом прошлась по саду, сорвала нарцисс, приколола себе к лифу, сорвала другой беленький цветок, на котором погадала о Петре Авдеевиче, и, поцеловав цветок, прошла в рощу, окружавшую со всех сторон усадьбу вдовы покойного Власа Кузьмича. И

вторую ночь, подобно первой, промечтала и проплакала Пелагея Власьевна, а наутро не могла отделить от подушки головы своей: так тяжела она была и так страшно болела.

Но всем человеческим страданиям есть предел. На четвертые сутки по приезде своем в Костюково Петр Авдеевич приказал Ульяну уложить в чемодан чистое белье, головную и зубную щетки, кусок мыла, пару сапог, халат, полфунта табаку, бритвенный прибор, состоявший из двух бритв и кисточки, и приказал Тимошке запрягать лошадей.

Пообедав наскоро, штаб-ротмистр закурил свою коротенькую трубочку, подвязал алый сафьянный кисет к верхней пуговице сюртука и, вскочив в телегу, велел везти себя по городской дороге; доехав до мостика, соединяющего костюковский проселок с большою дорогою, Петр Авдеевич спросил у Тимошки, куда ведет противоположная дорожка, которой, ежели помнит читатель, выехала в одно время с штаб-ротмистром померанцевая коляска.

— Да мало ли куда она ведет, — грубо отвечал Тимошка.

— Однако же.

— Да как тут сказать? по ней и в Киев до-
едешь.

— Я у тебя спрашиваю не про Киев, а про
соседей, дубина!

— Соседей? мало ли соседей; тут вот в вер-
стах в двух живет купец Сыромятников, — за-
метил лукавый Тимошка, который очень хо-
рошо знал, о каких соседях спрашивал барин;
да досадно было Тимошке, что барин-то его
что-то не ласков стал с ним.

— А дальше кто живет?

— Дальше живет Чинкина барыня, старуха
с сыном, что в приказе секлетарем, что ли,
служит.

— Не одни же они, — перебил штаб-рот-
мистр с нетерпением.

— Кто говорит, что одни, — продолжал Ти-
мошка, — и за Чинкиной живет народ, вот
верст с десять отъехать, будут Выселки.

— Чье это?

— Одnodворческое[80], сударь, а за Высел-
ками с версту конец до Пригорец, с Пригор-
цов переедешь Коморец; еще верст с пяток до
Графского, барское село, важное, можно ска-
зать...

— А принадлежит оно?

— Принадлежит оно графине Белорецкой; барыня та сама не живет, а управляет приказчик.

— Неужто же до Графского и нет больше никаких усадеб? — спросил с возрастающим нетерпением штаб-ротмистр.

— Да кого же вам это нужно?

— Ну, Кочкиных знаешь?

— Кочкиных? — повторил Тимошка, — давно бы изволили сказать, что Кочкиных; Кочкины точно живут в этой стороне; так к ним прикажете, что ли?

— Стало, ты знаешь?

— Как не знать, что вы, барин, не знал бы я Кочкиных; Кочкины господа ближние; сколько раз возил я туда покойника, и барышня кочкинская такая прекрасная и добрая, а намеднись из своих ручек изволила пожаловать мне целковый.

— А ты небось обрадовался, подлец, — сказал, смягчив голос, Петр Авдеевич.

— Ведь не деньги дороги, барин, — отвечал Тимошка, — а дорога нашему брату честь, вот что-с!

— Пошел же поскорее!

— Поеду, барин, честь-то дороже всего, — продолжал кучер, пользуясь благоприятною переменою к нему штаб-ротмистра, — деньгу украдет другой, а чести, барин, никто не украдет.

— И горелки не купишь небось?

— Что горелка, не видали мы разве горелки; не будь она, проклятая, хмельна, и в рот бы не взял... Ну уж барышня хорошая кочкинская; вот бы вам, барин, подъехать к ней...

— Что ты там врешь?

— Чего врешь; я не вру, я докладываю, то есть резонт[81]; ей-богу, Петр Авдеевич, коли барышня понравится, женитесь; у старухи бумажек сам черт не вытащит, да все вам же достанется.

— А богата старуха?

— Что и говорить, барин, спросите у всего околотка, всяк знает, как покойник жил и много ли клал в сундук; да, бывало, в городе справлял судейскую должность, на двор так и везут, чего не везут? и провьянтом брал, и холстами брал... а куда тратил? никуда; помер, и осталось все у старухи.

Слушая Тимошку и сравнивая слова его с рассказами Тихона Парфеньевича об уездном судье, Петр Авдеевич задумался не на шутку. Ну, а как впрямь Пелагея Власьевна невеста с приданым? уж не последовать ли благому совету Тимошки? говорил сам себе штаб-ротмистр, да не завязать ли дело серьезное? и откажут — беда небольшая, а как не откажут? Сверх же того, Пелагея Власьевна такая пригожая, что, не будь у Петра Авдеевича казенного долга[82], да костюковских недоимок, да склонности жить не скряжнически, он и не подумал бы о приданом.

Странное, диковинное дело, а нельзя не убедиться в той неоспоримой истине, что алчность и жажда к приобретению, эти два унижительные и порочные свойства человека, развиты преимущественно в богатых людях, а не в бедных; к каким средствам ни прибегает большая часть первых, чтобы увеличить цифру собственности, и каким лишениям не подвергают они сами себя и свои семейства? Примером может служить один богач, употреблявший постоянно для собственного своего стола только то масло, которое по горе-

чи своей оказывалось совершенно негодным в продажу...

— Однако, брат Тимошка, Кочкины-то, видно, живут не то чтобы очень близко? — спросил наконец у кучера штаб-ротмистр, когда и дом купца Сыромятникова, и Выселки, и Пригорец остались позади их.

— Не близко, барин, — отвечал Тимошка, — верст с двадцать с лишком считаем от Костюкова, а может, и будет больше; вот зимником[83] лощиной пойдет дорога, так верст пяток выбросим вон, летом же болото топкое, не проберешься и верхом. Вот, батюшка Петр Авдеевич, дождемся снежку да доживем, бог даст, до святок; на евтих-то местах зверья бывает такое множество, что отбоя нет соседним деревням; коли милости вашей да захочется поохотиться, уж я вам доложу, барин, охота будет отменная.

— Небось с поросенком?

— Вестимо, с поросенком, Петр Авдеевич, а без поросенка какая же охота; у Матрены-скотницы свинья поросная, как раз поспеет; приказать бы только парочку приберечь да подкормить.

— А ты разве стреляешь? — спросил штаб-ротмистр.

— Я, барин?

— Да.

— По волкам, что ли?

— Ну да, по волкам или по другому чему.

— По волкам как не стрелять, барин! он же, bestия, лезет на кулек, так его хоть руками бери, ведь близехонько; в запрошлую зиму мы с кузнецом Федором поехали вот в евто самое место, и ружьишки были у нас, вам самим известно какие, только обогнули залесье и стали спускаться в овраг, я и говорю ему: потисни-ка маленько поросенка-то, он и тись! матушки мои, как посыпали, откелева что бралось и справа, и слева...

— Постой-ка, братец, — перебил Петр Авдеевич, — уж не это ли усадьба Кочкиных?

— Евта самая, барин.

— Вот этот домишко старенький в березовой роще?

— Самый евтот, — отвечал Тимошка, — объехать только вот тот конец, что за кустом, и поворотка.

— Постой же, я слезу да поправлюсь, —

сказал Петр Авдеевич, и кучер остановил лошадей.

Штаб-ротмистр соскочил с телеги, стряхнул с шинели и фуражки пыль, поправил галстух, вытер платком лицо, смочил слюною усы свои и потянул их вниз, рукою почистил рейтузы и, застегнув сюртук на две нижние пуговицы, расправил лацканы так, чтобы белая подкладка была видна, потом, осмотревшись хорошенько, снова прыгнул в телегу и снова закричал кучеру: «Пошел да подбери пристяжных!»

Тройка свернула с торной дороги на полужаросшую травую тропинку, пролежавшую между зеленых полей, и, быстро помчавшись мимо ветхой кузницы, березовой рощи, гумна, амбара и какой-то клетки, подскакала к крылечку маленького домика или, лучше сказать, нескольких изб, соединенных в кучку и покрытых почерневшим тесом; штаб-ротмистр, сбросив шинель свою в телеге, ловко сошел наземь, перешагнув одним махом все ступеньки крыльца и, войдя в сени, стал осматриваться; пред ним было двое дверей, но правая показалась Петру Авдеевичу чище

левой и, приняв ее за вход в чистую половину [84], он отворил ее и вошел.

В передней ни души; гость положил кiset свой на ларь и продолжал идти далее. Второй покой, довольно темный, был вроде его костюмовской залы — и в нем ни души; в третьей комнате, напоминавшей гостиную, на овальном столе, сделанном из волнистой березы, нашел штаб-ротмистр толстый недовязанный чулок и очень грязные карты, симметрически разложенные; самую середину занимал трефовый король. За столом у стены находился березовый диван, на нем две шитые гарусом подушки, из которых одна изображала пуделя, а другая турка с четырехугольными глазами; турок скакал на коричневой лошади с бисерным золотым мундштуком во рту; над самым же диваном висели три портрета: первый изображал, вероятно, покойного Власа Кузьмича в мундире судьи с медалью на широкой ленте и с часами в руках; второй представлял супругу его в розовом платье с талиею у самого подбородка; голова Елизаветы Парфеньевны была похожа на самый замысловатый кулич; третий порт-

рет завитой девочки, сидящей на подушке, должен был, по всем соображениям Петра Авдеевича, принадлежать Пелагее Власьевне, когда еще Пелагея Власьевна была ребенком; на коленях она держала пребезобразную белую собаку.

Гость не удовольствовался наружным убранством гостиной и, пользуясь продолжительным одиночеством своим, выдвинул ящик овального стола и заглянул в него. В ящике нашел он покрасневший от времени огрызок яблока, клубочек бели, неопределенного цвета восчечек и тщательно завернутый в маслянистую бумажку гумозный пластырь [85]; рядом с ним лежали женские ножницы с отломленным концом и сахарная арфа, пороченная временем.

И все эти вещи успел внимательно пересмотреть Петр Авдеевич, пока наконец в соседней комнате со стороны, противоположной зале, слышались женские шаги и в дверь вошла Елизавета Парфеньевна.

— Ах, батюшки мои, как же я виновата перед вами, Петр Авдеич! — воскликнула хозяйка, — захлопоталась и не знала совсем, что

пожаловал к нам такой дорогой гость, и люди скверные, — чай, никого не нашли в передней?...

— Мы люди военные-с, без церемонии, Елизавета Парфеновна, — отвечал штаб-ротмистр, подходя к руке хозяйки, — не извольте беспокоиться.

— Как же мы рады видеть вас, Петр Авдеич, и Полинька спрашивала все: что это Петр Авдеич, верно, позабыл нас, что не хочет и взглянуть; он, благодетель наш, он...

— Вы, воля ваша, обижаете меня, Елизавета Парфеновна!

— Как обижаю, чем это? упаси господи.

— Да так, что обижаете, ей-богу.

— Скажите, пожалуйста, чем же это? да я умру с горя.

— Да тем, что называете благодетелем, Елизавета Парфеновна, — продолжал штаб-ротмистр, — ведь благодетели бывают обыкновенно люди старые, а я еще не старик.

— Так вот что, почтеннейший наш, вот чем обидела, ну не буду впредь, — отвечала Елизавета Парфеньевна, смеясь и усаживаясь на диван, — а ведь я перепугалась серьезно:

думала себе, чем же это могла обидеть человека, которого полюбила, как близкого сердцу родного; уж что я, старуха, а то и Полинька.

— Может ли быть?

— Ей-ей! а вы не верите небось?

— Клянусь честью моею, Елизавета Парфеновна, не смею то есть верить!..

— Полноте, полноте, Петр Авдеич, — заметила лукаво вдова, — это просто скромность, больше ничего, а вы очень хорошо замечаете; да может ли и быть иначе после той услуги, которую вы нам оказали?

— Опять-с!..

— Ну, ну, не буду, дорогой наш, не буду никогда. — И, говоря это, Елизавета Парфеньевна поднесла руку свою гостю, которую тот снова поцеловал. — У нас же такая идет суета, почтеннейший Петр Авдеич, — продолжала вдова, — все строения начинаю перестраивать вновь; посудите, каково-то мне на старости заниматься всем этим, и женское ли это дело? а к кому прибегнуть, кем заменить себя? муж умер, сын мой также скончался, остались мы вдвоем с Полинькою. Грешить не хочу: награди бог всякую мать такую дочерью,

как моя, да что же толку-то в этом? не послать же мне ее на мужскую работу, когда вам самим известно, Петр Авдеич, каковы у нас крестьяне-то, — ведь просто необразованные, без всякого обращения; иной, прости господи, и не посмотрит, что барышня тут; прилично ли же?

— Подлинно, Елизавета Парфеновна, отвечать за них нельзя; вот-с у меня дело совсем другое; живу-с я один совершенно, и не слаб, могу сказать, а сколько раз строго приказывал и грозил; нет, никаким способом не устережешь. Добро бы-с работа, ну, лень крестьянину идти далеко, а то ведь-с сад и огорожен кольями, чтобы, кажется, повынуть-с и того-с, — непросвещение!

— Ах, не говорите, Петр Авдеич, — продолжала старуха, вздыхая, — и мысли не приложу, к каким мерам обратиться; пуще всего дворовые — пагуба! вот пример, так избалованы, так избалованы!.. У вас же, Петр Авдеич, я слышала, мужички в хорошем положении?

— Как вам то есть доложить-с? — живут, благодаря бога.

— И богаты?

— Богаты? нет-с, а есть достаточные.

— А много их у вас?

— Сотни-с полторы.

— Что же, недурно, — заметила вдова.

— Недурно-с, недурно-с, точно; но земля-с не очень, чтобы того...

— Как, не хороша разве?

— Не то чтобы не хороша, а запущенна: мало кладут удобрения.

— Вот уж этого допускать не должно, Петр Авдеич: это большое зло в хозяйстве.

— Как не зло-с?... я сам знаю, что зло большое, но должен доложить вам, что в последнее время батюшка вовсе не занимался хозяйством и распоряжался в имении дворовый человек.

— Теперь же, по крайней мере, почтеннейший, вы сами займетесь?

— Надеюсь, Елизавета Парфеновна, по этому поводу-с и оставил службу.

— И прекрасно!

— Все усилия употребим, лишь бы благословил то есть бог.

— Молитесь ему почаще, Петр Авдеич; он

и подружку пошлет вам добрую.

— Я не прочь.

— И хорошенькую, — прибавила вдова.

— И от этого не прочь.

— И разумную.

— А без разума на что же она? помилуйте-с.

— То-то я и говорю, что пошлет и разумную; разумеется, очень богатых невест у нас в околотке не отыщется, разве соседка моя, — прибавила с иронической улыбкою Елизавета Парфеньевна.

— Соседка, какая соседка? не слыхал.

— Я говорю, — продолжала вдова тем же насмешливым тоном, — про графиню Наталью Александровну Белорецкую.

— Девица разве?

— Нет, не девица, а вдова, впрочем, не старая, лет ей двадцать четыре, и красавица, говорят... была выдана за старого знатного человека; он умер месяца три назад в Петербурге, а жене оставил тысяч десять душ да домов несколько. Так вот, Петр Авдеич, подцепить бы вам такую невесту недурно.

— Вы смеяться изволите, Елизавета Парфе-

новна?

— Почему же?

— Не нашего поля ягода, не по нас зверек; отыщутся и кроме нас на него охотники; а уж мы похлопочем около себя, вернее будет-с, Елизавета Парфеновна; и за приданным большим не погонимся, была бы только, как вы изволили сказать, хорошенькая, добрая-с да умная, а главное притом не хвораю.

— Согласна, совершенно согласна с вами, дорогой мой. Эта статья чуть ли не самая важная, — перебила с жаром вдова, — в хворой жене счастья не ищите, и сама измучится, и мужа истиранит. А правду, надобно сказать, Петр Авдеич, много ли то у нас по всей губернии найдется здоровых девиц, — с фонарем поискать, не сыщешь; а всему причиною воспитание, присмотр гувернантки, которой взять бы деньги, а там и провались сквозь землю. Много ли то матерей, пекущихся о дочках, да так, чтобы дочка не легла без материнского присмотра в постель, да не напилась в жар. Много ли, спрашиваю? оттого-то девицы у нас не на что взглянуть, с лица желты, а фигура-то, Петр Авдеич, только и есть,

что навятят все под горло; а выйдет замуж, глядь, ничего и нет.

— Справедливо, Елизавета Парфеньевна-с.

— Как, батюшка, не справедливо, мне ли не знать? ведь мать сама, сама вскормила дочь, слава богу, не другим прочим чета. Нет, Петр Авдеич, в чем другом, а в этом пред богом отвечать не буду, пусть и люди судят... до пятнадцатого года, могу сказать, с глаз моих не спускала; пойдет ли гулять, бывало, воротится домой: «Покажи-ка ножки», — говорю. «Да нет, маменька». — «Не нет, сударыня, покажи», и, усадивши на стул, сама разую; мокры ножки — натру вином, согрею да надену шерстяные карпеточки[86], и здоровехонька... Вот что называется ухаживать за девицами, а не то чтобы мамзель какая — *парле франсе да бонжур*, и больше ничего.

— Справедливо рассуждать изволите, Елизавета Парфеньевна, — повторил штаб-ротмистр, — сущая и совершенная правда-с; пятнадцать лет — для девицы важная вещь-с.

— Как же не важная; да еще и какая важная, Петр Авдеич; а вот и Полинька, — воскликнула вдова, приподнимаясь с дивана.

Улыбаясь и краснея, вошла в гостиную Пелагея Власьевна, улыбаясь и краснея, присела она Петру Авдеевичу и, жеманно подобрав голубенькое платье свое, поместилась рядом с матерью на березовом диване.

Гость, не нашедши, вероятно, в памяти ничего приличного к приветствию, ограничился ловким поклоном и, отодвинув кресло свое несколько далее от дам, уселся на него, не вымолвив ни одного слова.

Мать первая возобновила разговор; она обратилась к дочери.

— Видишь ли, Полинька, что Петр Авдееч не совершенно позабыл нас и приехал.

Пелагея Власьевна опустила глазки и кашлянула в платок вместо ответа.

— Я говорила тебе, что приедет.

— Да, маменька, — прошептала дочь.

— Вот видишь: мать никогда не обманет; в другой раз надобно верить, когда мать говорит.

— Я давно бы за счастье почел, — перебил, вставая с своего места, Петр Авдеевич, — но... полагал... беспокою...

— Вы, вы, Петр Авдееч? — спросила мать.

— Право, в этом только и заключал сомнение, Елизавета Парфеньевна; думал также, что удержит вас Тихон Парфеньич, и все это-кое думал.

— Знайте же, почтеннейший соседусшка, что с сегодняшнего дня мы безвыездно будем дома и станем ожидать вас с утра до вечера, — прибавила, приветливо улыбаясь и вставая, Елизавета Парфеньевна, — а теперь не взыщите, Петр Авдеич, в деревне с короткими не церемонятся, а ведь вы короткий знакомый наш, не правда ли? и потому оставляю вас скучать с Полинькою, а сама отправляюсь по хозяйству... Полинька, надеюсь, что ты, мой друг, сумеешь занять гостя, не то он, пожалуй, никогда больше не приедет к нам. — Выговорив последнюю фразу со всевозможными ужимками, вдова вышла вон, оставив Петра Авдеевича и Пелагею Власьевну в самом неловком положении. В продолжение нескольких минут оба они не знали, что им делать друг с другом и с чего начать разговор, который поддерживала одна Елизавета Парфеньевна. Штаб-ротмистр, поглядывая на Пелагею Власьевну, переставлял ноги

свои и тянул книзу ус; в свою же очередь Пелагея Власьевна, приподнимая глаза на Петра Авдеевича, тотчас же опускала их и кашляла для приличия... Но оба понимали очень хорошо, что подобное препровождение времени должно же было кончиться наконец чем-нибудь, и потому в одно и то же время оба заговорили.

— Вы не можете... — начала было Пелагея Власьевна, но, услышав голос Петра Авдеевича, замолчала, замолчал и тот; потом они взглянули с недоумением друг на друга, и уже Пелагея Власьевна решилась первая сделать вопрос.

— Вы, кажется, хотели сказать что-то, Петр Авдеич?

— И вы тоже, Пелагея Власьевна, — отвечал штаб-ротмистр.

— О нет, я уж не помню.

— Какая дурная память, Пелагея Власьевна.

— О нет, — повторила девушка, — но мне хотелось знать, что хотели вы сказать, Петр Авдеич.

— Я, Пелагея Власьевна?

— Вы, Петр Авдеич.

— Я хотел сказать, Пелагея Власьевна, что все эти дни мне было очень скучно.

— А мне? — проговорила, вздыхая, девушка

— Как, и вам тоже?

— О да, Петр Авдеич!

— Почему, скажите, сделайте одолжение.

— Сама, право, не знаю, но очень скучно; уж маменька за это бранила меня.

— Маменька ваша очень добрая, кажется, Пелагея Власьевна.

— Как ангел добра.

— За что же она бранила?

— За то, что я ужасно скучала и даже плакала.

— Вот еще как, — заметил штаб-ротмистр.

— Это глупость, я и сама знаю, Петр Авдеич; но мне так показалась несносна деревня после города: в городе было так весело.

— Это справедливо, что деревня скучна после города.

— Не правда ли, Петр Авдеич?

— Совершенно, но плакать, кажется, я бы не стал.

— Вы дело другое, вы мужчина, вы счастливы, Петр Авдеич!

— Почему же вы это думаете?

— Потому что мужчины все обыкновенно бывают счастливы, их ничто не тревожит... они не способны так чувствовать, как девица.

— Вот уж это несправедливо замечать изволите, Пелагея Власьевна, мужчины также чувствительны бывают.

— Не думаю, чтобы так...

— И сравнения нет, можно сказать больше, доказать могу.

— Я любопытна слышать.

— Да вот, например, у нас в бригаде один офицер влюбился в такую, что пляшет на канате с шестом, и поверите ли, чуть не посадил себе пулю в лоб; так вот как мужчины любят, Пелагея Власьевна...

— А вы, Петр Авдеич, — спросила Пелагея Власьевна, бросая на штаб-ротмистра томный взгляд, — могли бы испытать подобное чувство, как товарищ ваш?

— Как? к плясунье на канате?

— Не к плясунье, а все равно к другой?

— Не все равно, Пелагея Власьевна.

— Положим, если бы, например, вам встрети-
лась девица дворянского сословия; хотя бы,
например, такая, как...

— Как кто? — спросил штаб-ротмистр.

— Не знаю, с кем сравнить-с, право.

— Однако же-с?

— Право, не знаю, Петр Авдеич!

— Подумайте-с хорошенько.

— Ну, такая, как...

— Как? — повторил Петр Авдеевич.

— Как я... — едва внятно и краснея выгово-
рила девушка.

— Как вы, Пелагея Власьевна, да встретиться
только такая и не совсем даже схожая-с, пото-
му что где же-с такая может встретиться, я
бы, кажется, доложу вам, просто... того...

— Вы насмешник, Петр Авдеич!

— Ей-богу, говорю от полноты то есть от
сердечной или, лучше скажу, как солдат, без
всяких этаких комплиментов, и где же мне-с,
посудите сами, научиться всяким этаким обо-
ротам, которые приобретаются, собственно, в
обширных столицах?

— Мужчины так фальшивы бывают, Петр
Авдеич, — заметила Пелагея Власьевна, же-

манясь.

— Мужчины, статья может, но я-с под присягу пойти готов-с.

— Ах, не клянитесь.

— Хоть сейчас, верьте, Пелагея Власьевна!

— Я верю вам, о я верю вам, Петр Авдеич, и ежели бы... но не жарко ли вам в комнатах? вечер такой прекрасный, в роце прохладно, хотите прогуляться, Петр Авдеич?

— Сделайте ваше одолжение, Пелагея Власьевна, я с моим удовольствием.

Штаб-ротмистр бросился за своею фуражкой в соседнюю комнату, а Пелагея Власьевна частенькими шагами побежала за шляпкою и зонтиком.

— Вы позволите-с мне взять трубку, Пелагея Власьевна? — закричал ей вслед Петр Авдеич.

— Ах, пожалуйста, — отвечала из третьей комнаты девушка, прыгая перед зеркалом и делая глазами и головою разные знаки стоявшей пред нею пожилой дворовой девке в за-трапезном платье и с босыми ногами; девка отвечала на барышнины немые объяснения глупым полусмехом и, поправив ей некото-

рые части туалета, проводила барышню из дверей; сама же, приставя глаз к замочной щелке, принялась осматривать приезжего барина, о котором с самого приезда барынь из города уже поговаривала сорочковская дворня как о барышником женихе.

Полтора часа спустя герои наши возвратились из рощи, по-видимому, очень довольные собою; Пелагея Власьевна, вертя в руках своих незабудку, смеялась, разговаривала и, даже отвечая на вопросы Петра Авдеевича, смотрела прямо ему в глаза.

Петр же Авдеевич, идучи рядом с Пелагеею Власьевною, пускал на воздух клубы табачного дыма. Трое суток прогостил Петр Авдеевич в Сорочках, гулял с барышнею по роще, собирал с нею грибы и отпускал всякие обиняки, и трое суток эти промчались для всех жителей Сорочков быстрее одного дня, а на четвертые та же лихая тройка отвезла штаб-ротмистра в Костюково, Колодезь тож, к великому огорчению Пелагеи Власьевны.

Наблюдавшая за дочерью и гостем Елизавета Парфеньевна утверждалась в той мысли, что ежели женщина захочет понравиться, то



уж конечно понравится, и сделай в этот вечер предложение штаб-ротмистр, на другой же день Пелагея Власьевна могла бы снова облечься в свое вердепешевое платье и кисейное канзу; и сколько завистниц возродила бы в уезде весть о внезапной помолвке Пелагеи Власьевны!

Но штаб-ротмистр думал иначе. Опыт товарищей доказал ему, что хорошенькие де-

вушки очень часто нравятся молодым людям, особенно военным, что девушки эти обыкновенно бывают до крайности любезны, пока замужество не увенчает этой любезности чепцом и титулом жены; тогда все-таки очень часто из любезных и хорошеньких девушек делаются фурии, и этих фурий бедные люди, превратившиеся в супругов, обязаны таскать за собою всю жизнь.

Вторая причина нерешительности Петра Авдеевича возникла от невольного недоверия к сладкозвучным словам Елизаветы Парфеньевны, так громко провозглашавшей нежность свою к единственной дочери, от которой, может быть, чувствительная мать желала только скорее отделаться; и подобные примеры видал в продолжение жизни своей штаб-ротмистр.

«Ну, а как, отдавая дочь свою за меня, — говорил сам себе Петр Авдеевич, — да наградит она нас благословением, и только, что же я буду делать тогда с Пелагеею Власьевною? амуриться долго — нельзя; на это полагаю я года четыре, что же потом? опять на службу, трудненько, и товарищи обгонят; жить на ста

двадцати душах, заложенных и перезаложенных, еще труднее; понадобятся и чепцы, и башмаки, и платья; а я и себе-то партикулярного справить не в силах. А дети? не говоря уже про двойни; да куда же мне с ними? Нет, дудки; торопиться не для чего. Прежде чем Тихон Парфеньевич не объяснится сам лично, пожалуй, Елизавета Парфеньевна, то есть объяснится со мною как следует, ездить буду, пожалуй, и в рощу пойду, лясы всякие точить стану, а жениться... шалишь — не проведут».

С таким-то положительным и непоколебимым намерением сел за ужин рядом с Пелагеею Власьевною Петр Авдеевич, выпил большую рюмку настойки на центифолии[87], улегся, поужинав, на две перины, положенные, в свою очередь, на березовом диване гостиной, и пресладко и прекрепко проспал до утра.

С той минуты, как разум шепнул штаб-ротмистру, что от его единственного слова зависит участь Пелагеи Власьевны и достаточно воли его, чтобы из Пелагеи Власьевны Кочкиной сделать Пелагею Власьевну Мюнабы-Полвелову, штаб-ротмистр наш, как говорится,

только что не перестал и думать о ней. Благодаря польским местечкам двадцативосьмилетний Петр Авдеевич давным-давно смотрел на хорошеньких женщин как на существа обыкновенные; голубые, черные, карие и миндальнообразные глазки находили его постоянно готовым принести им в жертву клятвы, уверения, часть наличных денег, — но вечную независимость? нет! за нее держался штаб-ротмистр обеими руками и не променял бы ее на глазки без удовлетворительного к ним *мазу*[88], как он выражался сам.

Оставшись глаз на глаз с матерью, она на вопросы последней отвечала с откровенностью, свойственной послушной дочери, впрочем, скрывать было нечего, ибо штаб-ротмистр, верный своей системе — быть осторожным и не спешить, — не позволил себе в обращении с девушкой ни малейшей вольности, он даже целовал руку ее только в присутствии Елизаветы Парфеньевны; до любви же своей касался косвенно. Из слов дочери мать заключила, что хотя Петр Авдеевич и влюблен по уши в Пелагею Власьевну, но врожденная застенчивость его, а может быть, и

непривычка обращаться с женщинами делают из Петра Авдеевича любовника слишком скромного, робкого и нерешительного; к тому же излишняя поспешность могла быть перетолкована соседями и уездом не в пользу Полиньки, а следовательно, благодаря всевышнего, все шло к лучшему, и стоило только поддерживать пламя любви в сердце штаб-ротмистра, пламя это само по себе в самом непродолжительном времени превратит в пепел все препятствия, и любовники соединятся узами вечными. Тогда же какое счастье для Елизаветы Парфеньевны! Наградив дочь всяким тряпьем и бесчисленным множеством обещаний, которые так не дороги, не оставалась ли она, бедная вдова покойного судьи, полною обладательницею села Сорочки, а главное — тех крох, про которые говорил Петру Авдеевичу и Тихон Парфеньевич, и кучер Тимошка. Из крох могла Елизавета Парфеньевна слепить себе домишко в пять окон и обратить окна эти на одну из улиц уездного города, по вечерам играть в бостон с Андреем Андреевичем, носить сатинтюрковые капоты [89], вышитые бисером ридикюли, серебря-

ную табакерку с вышитым на ней изображением монумента Петра Великого, и не полоскать для приличия рта своего камфарным спиртом, когда зубы не болят, а просто откусивать то тминной, то инбирной, то анисовой, по собственному уже усмотрению и во все часы дня и даже ночи. Случалось ли украдкой Андрею Андреевичу спрашивать у Тихона Парфеньевича, скоро ли свадьба его племянницы, городничий отвечал: «Видишь сам, кажись, скоро; впрочем, да будет воля божья!» И удовлетворенный Андрей Андреевич разносил по городу достоверную весть о скорой помолвке Пелагеи Власьевны с Петром Авдеевичем. Пелагея же Власьевна до того привыкла к будущему жениху своему, что, не видав его самое короткое время, принималась за слезы, как за законную собственность, и, не скрывая их ни от кого, столь же открыто упрекала штаб-ротмистра в долгой отлучке, невнимании к ней и в непростительной холодности. Девушке, предоставленной собственному произволу, казалось нимало не предосудительным обращаться с посторонним ей человеком так же коротко, как с бра-

том, потому что мать только что не требовала короткости этой к штаб-ротмистру, а дядя подражал матери, чего же более? Остается заглянуть во внутренность Петра Авдеевича; в ней жизненный процесс шел наиисправнейшим образом; намерение не торопиться укреплялось с каждым днем более и более, а счастье полного обладания Пелагеею Влазьевною заменялось покамест в штаб-ротмистре уверенностью не выпускать ее вперед из-под власти своей и вынудить упорным молчанием своим мать девушки на выгодное для него окончательное объяснение.

В таких-то сладких мыслях пребывала Елизавета Парфеньевна от первого приезда штаб-ротмистра в село Сорочки плоть до заморозков и даже до зимнего Николы[90]. Не проходило недели, чтобы знакомая тройка Петра Авдеевича не сворачивала с проселка на полузаросшую тропинку, ведущую к дому Кочкиных, и полчаса спустя Елизавета Парфеньевна не оставляла дочери своей с ним глаз на глаз. В праздники навещал сестру свою городничий, или сестра в сопровождении дочери отправлялась в город к брату, и тогда, вместо

Сорочков, посещал штаб-ротмистр уездный город, останавливался в доме Тихона Парфеньевича, прогуливался по площади рядом с Пелагеею Власьевною и внушал тем такую ревность Дмитрию Лукьяновичу, что Дмитрий Лукьянович снимал белый картуз свой и клялся собором отомстить Петру Авдеевичу, если только получит место станового.

Вот в каких отношениях застал двадцатиградусный декабрьский мороз все действующие лица моего рассказа.

Часть вторая

В один из морозных вечеров декабря того же года прохаживался по зале костюковского дома своего Петр Авдеевич, не зная, за что приняться и чем рассеять тоску, которая преследовала его немилосердно каждый раз, когда Петр Авдеевич был один. Не привыкнув ни к каким умственным занятиям, штаб-ротмистр убивал дни свои, охотясь за зайцами, прогуливаясь пешком, верхом и в телеге; не говорю о времени, которое проводил он у будущей невесты; но вечера в Костюкове были для него истинным наказанием. И что делать

ему? перечитывать отцовскую библиотеку, то есть: «Краткое изложение пяти частей света», «Путешествие капитана Кука», «Краткую историю Древних народов» и проч.[91], — Петр Авдеевич решиться не мог; он находил, что учиться ему было поздно, и экзаменов, благодаря бога, не предстояло более; следовательно, книги в сторону; что же делать? толковать с Тимошкою? не о чем; с Кондратием Егоровым разве, подумал штаб-ротмистр и свистнул. «Позови, братец, мне приказчика», — сказал Петр Авдеевич прибежавшему на свист растрепанному мальчишке в предлинном казакине из домашнего черного сукна.

Мальчишка вышел, и штаб-ротмистр прошелся еще раза два по зале, потом, сняв со свечи, взял ее и перенес в гостиную, в которой и расположился в ожидании приказчика. Минут с десять спустя вошел и Кондратий Егоров, тот самый, с которым я познакомил уже читателей моих в начале рассказа.

— Ну что скажешь, Егорыч? — спросил помещик, усаживаясь с ногами на диван, — морозит порядочно, и чуть ли не будет к утру

метели.

— Д уж время такое, батюшка Петр Авдеич, — отвечал приказчик, — минул Никола с гвоздем[92], быть морозу.

— Дорога установилась хорошая?

— Чего желать лучше? лучшей дороги не будет, Петр Авдеич.

— У мужиков же все исправно?

— Все исправно, благодаря бога, иных отпустил по приказанию вашему в извоз[93], другие на молотье; всех отпустить нельзя.

— Знаю.

— И леску подвезти надобно бы, на весну перебраться придется житник и загородку на скотном дворе...

— А ведь скучно, Егорыч, в деревне-то делается!

— Нашему брату скучать некогда, батюшка; вашей же милости, конечно, того-с; без привычки же вам...

— Не то, братец, что без привычки, — заметил штаб-ротмистр, — сколько раз случалось с эскадроном целую зиму простаивать напролет в деревнях, да не одному же: офицеры были; тут же, сам посуди, тоска смертельная.

— Как не тоска, батюшка, Петр Авдеич; да вашей милости проехаться бы хоть на волчков.

— Ездил, братец.

— Что же, не посчастливилось, видно?

— Вздор выходит; волки и есть, да дьявол их знает, или пора не пришла, или напугал их кто: высунутся, бестии, из опушки, да только заметят нас — и верть назад, а пробовал выходить из саней и садиться под куст; нет, канальи, нейдут как нейдут.

— А ведь, батюшка, и впрямь, что пора-то не настала на них, Петр Авдеич; погода, самим вам известно, стояла теплая, ему и горюшка мало, пока землю не скрепило, кормится падалилкою; а вот как прихватит покрепче, уж зверь станет придерживаться селений, к людям поближе, мерзлой-то земли не дойдет.

— Когда же еще это?

— Что это, батюшка?

— Да покрепче прихватит?

— Долго ли же, Петр Авдеич? подержит мороз день-другой, и готово; да сегодня доложу вам, по-нашему, замерзания градусов будет

около двадцати пяти; не было бы больше, противу ветра дышать нельзя, дух захватывает, батюшка.

— Уж не проехаться ли мне сегодня? — спросил, подумав, штаб-ротмистр.

— Сегодня бы раненько, Петр Авдеич, сегодня навряд ли...

— Что же делать?

— А что же бы такое, батюшка? погадать разве?

— Как погадать?

— Различные есть гаданья, — заметил, ухмыляясь, приказчик, — и в зеркало смотрят, ходят и на овин, и на перекресток иные выходят.

— Расскажи, братец, я, правда, и слышал не раз про гаданья, да сам не испытал.

— Как же, батюшка Петр Авдеич, чуть святки настанут, у нас по деревне обычай такой, и господа, и дворовые, и мужики сейчас за гаданье... Покойный батюшка ваш, дай господи царство небесное, молод был, всегда гадывать изволил.

— Что же, выходило ему что-нибудь? — спросил штаб-ротмистр.

— Еще как вышло-то раз, Петр Авдеич, — таинственно отвечал приказчик.

— Неужто?

— Ей-богу-с.

— Расскажи же, братец, расскажи.

— А вот изволите слушать, — продолжал Кондратий Егоров, подходя поближе к дивану. — Доложу вам, что в то время покойный барин еще и не задумывал, то есть жениться, и не видали то есть ни разу покойницы маменьки вашей. Вот барин, покойный-то барин, и изволит говорить мне: «Кондрашка! — я то есть исправлял при барине камардинскую должность; барин-то и говорит мне: — Кондрашка, не загадать ли мне так, из проказы?» — «Почему же, мол, и не загадать», — докладываю; мы и вышли на околицу; ночь-то была, батюшка, светлая о святках, и видим: едет кибитка прямехонько на нас, барин-то покойный и толк меня: «Видишь», — говорит. «Вижу», — говорю; хорошо, а как поравнялась-то кибитка с покойным барином, барин-то стал поперек дороги, да и говорит: «Позвольте, мол, спросить имя и отчество?» — «На что, мол, тебе?» — говорит из ки-

битки тоненьким голоском, знать, барышня или барыня какая; «Имя, мол, хотим знать», — отвечал барин. «Имя, — повторила барыня, — имя мое Авдотья...» Что же бы вы думали, батюшка Петр Авдеич, и году не прошло, как покойник женился на маменьке вашей, а ведь маменьку-то звали Авдотьей Никифоровной, как раз так...

— Забавно, — заметил штаб-ротмистр.

— Истину докладываю милости вашей, хоть сейчас умереть!

— Верю, верю, Егорыч, а забавно, ей-ей забавно, так, что хоть самому загадать.

— И загадать бы, Петр Авдеич.

— Как же это? выйти прямо на околицу и больше ничего?

— И больше ничего, батюшка, оденьтесь потеплее да перекреститесь.

— Взять с собою ружье или другое какое оружие про запас?

— Помилуйте, на что ружье? место близкое, — возразил приказчик, — приказать сторожу пройтись вперед да досмотреть насчет зверья.

— Не нужно, волков я не боюсь, Егорыч, не

съедят небось; и впрямь ружья не нужно; а прикажи-ка, брат, Уляшке подать мне валенки и тулуп; от нечего делать пройдусь по дороге; что, в самом деле, сидеть, тоска смертная.

— Сейчас прикажете, батюшка?

— А который час?

— Час одиннадцатый будет.

— Покуда соберусь да дойду до перекрестка, пройдет с полчаса, самая пора, — сказал штаб-ротмистр, вставая, — велика, братец Егорыч, поторопиться.

— Слушаю-с, слушаю-с, — отвечал приказчик и скорыми шагами вышел из гостиной, оставив Петра Авдеевича в полном удовольствии от неожиданного развлечения.

— Вот бы лихо было, если бы да мне, как батюшке, да назвал бы кто-нибудь мою суженую; я, правду сказать, и плохо верю чертовщине, а в сомнение придешь, когда случится над самим собою подобная оказия. Ну да прах возьми, все же лучше, чем оставаться в этом пустыре.

Пройдясь еще несколько раз вдоль и поперек темной залы, штаб-ротмистр принялся

облекать себя в валенки, принесенные Ульяном, вязаную шерстяную фуфайку, ничем не покрытый овчинный дубленый тулуп, и, подпоясавшись ремнем, Петр Авдеевич напялил на голову баранью шапку, на руки теплые рукавицы и в таком наряде вышел из дому в сопровождении Ульяна, которому, впрочем, приказал возвратиться назад.

— Ого, как мороз-то пожимает, — проговорил штаб-ротмистр, проходя скорыми шагами мимо надворных строений своих, в окнах которых мелькал еще тусклый огонек; но мороз был действительно так чувствителен, что, взявши себя за нос, костюковский помещик предался глубокому размышлению.

Прекрасна морозная декабрьская ночь! любил я тебя, бывало, с твоим ясным небом, с твоими яркими звездами, с твоим таинственным безмолвием; сколько чудных воспоминаний пробуждаешь ты в памяти моей, когда на прытких бегунах случается мне в глухую полночь нестись по родным, давно покинутым полям, прислушиваться к знакомому сторожевому звону родных сел, всматриваться в чащу дремлющих лесов, наводивших на

меня некогда страх неизъяснимый! И что может быть роскошнее тебя, декабрьская ночь? не твоею ли рукою сыплются на землю груды алмазов и не ты ли, как нежная мать, румянишь красавиц, дочерей своих, ярким пурпуром, завертывая их в шелковистые волны черных лисиц и пересыпая жемчугом?

Петр Авдеевич, миновав знакомый дуб, остановился, подумал и направил путь свой по битой дорожке, ведущей к городской дороге. На поле стужа делалась чувствительнее, и от поры до времени поднимавшаяся вьюга обсыпала его пушистым снегом; тогда, приостанавливаясь, он подставлял ветру свою спину, обеими руками закрывал уши и, переждав с минуту, продолжал идти далее. Он знал, что в полуверсте от околицы скрещались две дороги; вероятность встречи с кем-нибудь удваивалась, а потому и твердо решил штаб-ротмистр достичь перекрестка. У опушки перелеска дорога сделалась глаже, ветер менее суров, и полночный путник наш прибавил шагу; вот знакомая ель, вот вправо пошла тропинка в Архипеньково, а вот перекресток, — слава богу! Но что же это кажется?

так точно! колокольчик; и два даже, точно два, сказал сам себе Петр Авдеевич, прикрыв правое ухо свое обшлагом тулупа, и слух штаб-ротмистра не обманывал его, потому что отдаленный звон двух почтовых колокольчиков, заглушённый на время порывом ветра, послышался снова и довольно явственно.

— Вот тебе и гаданье в руку, — подумал костюковский помещик, переводя дыхание, — но кому бы ехать в эту сторону с двумя колокольчиками? Исправник? не может быть; а становому двух много; разве проезжий какой-нибудь? странно, черт возьми!

Припоминая подробности гаданья покойного родителя и намереваясь последовать в точности его примеру, Петр Авдеевич решительно стал посреди самой дороги и вперил взор свой в ту сторону, откуда долетали звонки. Вдали не замедлило показаться темное пятно, довольно обширное в объеме, за первым показалось второе, несколько меньшего объема. Привычный глаз штаб-ротмистра определил приблизительно число лошадей, впряженных в первый экипаж; число это

ограничил сначала Петр Авдеевич цифрою четыре, потом оказалось шесть, а наконец, и семь; самый же экипаж, казалось ему, похож более на карету, чем на кибитку, а действительно то был четвероместный возок, навьюченный кожаными ящиками различной величины.

— Стой! — закричал громогласно фореитору[94] Петр Авдеевич, поднимая руку кверху, — кто едет? — Оробевший фореитор повернул было лошадей своих с дороги в сторону, но, осмотревшись и заметив, что в руках штаб-ротмистра не было даже дубины, направил лошадей прямо на него. — Стой, говорят тебе! — повторил повелительно штаб-ротмистр, ухватившись в то же время за поводья подседельной[95].

— Вестимо, проезжие! — отвечал ямщик.

— Барин или барыня?

— Ну барыня, что тебе?

— А барыня, так погоди немного! — сказал Петр Авдеевич, отпуская поводья и подходя к замерзшим дверкам возка; в это время сидевший рядом с кучером слуга, по-видимому только что разбуженный голосом штаб-рот-

мистра, откинул меховой воротник шубы своей и принялся было расстегивать фартук, но Петр Авдеевич успел уже Постучаться в стекло и громко спросил: — Позвольте узнать имя ваше и отечество!

На вопрос штаб-ротмистра стекло возка опустилось, и раздался женский голосок, но так неясно, что Петр Авдеевич нашел нужным повторить вопрос.

— Clément, Clément! — раздалось в возке. — Que me veut cet homme?[96]

— Имя ваше и отечество? — проговорил в третий, раз штаб-ротмистр, не обращая никакого внимания на французскую, непонятную для него фразу.

— Имя мое Наталья, — робко отвечал тот же голос, — но зачем вам оно?

«Странно, — думал Петр Авдеевич, — а делать нечего». — Очень обязан, — сказал он наконец, — мне только того и нужно было.

— Но кто же вы?

— Я-с? я-с здешний, живу поблизости, сударыня!

— И знаете окрестности?

— Надеюсь, что знаю, сударыня.

— В таком случае, — продолжала дама, — скажите мне, пожалуйста, далеко ли до села Графского?

— До села Графского? — повторил штаб-ротмистр.

— Да!

— До села Графского отсюда будет верст так с сорок с небольшим.

— Может ли быть? — воскликнула дама.

— Будьте-с уверены, сударыня, что не ошибаюсь, да не было бы больше, вот что-с! по той причине, что село Графское за Выселками от большой дороги считается верстах в двадцати пяти; потом, сударыня, в село Графское нужно было вам повернуть с большака влево, а вы повернули вправо; видно, ямщик-то ваш то есть олух, как же ему-то не знать села Графского?

— Бог мой! как досадно, — сказала дама, высовывая окутанную голову свою из дверок возка. — Clément! Clément, vous entendez? Nous nous sommes égarés; il ó a de quoi devenir folle... Où sond mes gens?[97]

— Ils sont a cent pasen arriere, madame la comtesse,[98] — отвечал почтительно тот, ко-

того называла барыня Clément и который уже успел сползти с козел на землю и подойти к дверкам возка.

— Que faire, mon Dieu?[99] — проговорил с отчаянием тот же женский голос, — мы никогда не доедем на этих несчастных лошадях, — прибавила дама по-русски.

— Куда доехать, сударыня? да они не надышатся, — заметил Петр Авдеевич, осматривая со вниманием тощий почтовый семерик[100]. — На этих клячах вам не дотащиться не только до Графского, об этом и думать нечего, а они не довезут и до Выселков, ни за что не довезут.

Замечание штаб-ротмистра привело проезжую даму в совершенное отчаяние; она передала замечание штаб-ротмистра французу, который в ужасе отвечал барыне, что не ручается за собственную жизнь, ежели поблизости не отыщется ночлега.

— Послушай, голубчик, — сказала наконец дама, обращаясь к штаб-ротмистру, — скажи, пожалуйста, нет ли поблизости какой-нибудь усадьбы или даже простой, но чистой избы.

— Усадьба? есть, сударыня! да по вас ли бу-

дет? — отвечал, улыбаясь, Петр Авдеевич, которому голос дамы показался очень сладкозвучным.

— Ах, я буду всем довольна и поблагодарю тебя, мой друг, только сделай одолжение, расскажи ямщику, куда ехать.

— Не очень далеко, сударыня.

— О, тем лучше, тем лучше!

— И версты не будет, — продолжал штаб-ротмистр, — было бы где присесть, я, пожалуй, проводил бы вас сам!

— Ах, какое счастье! — весело воскликнула проезжая дама. — Clément! Cédéz votre place a ce brave homme et placez vous ailleurs[101].

Француз знаками указал Петру Авдеевичу козлы, а сам побежал ко второму экипажу, огромного размера кибитке, в которой и поместился с прочею полузамерзшею прислугою.

Штаб-ротмистр, внутренно посмеиваясь над дамою, принимавшею его, помещика, за голубчика, и приготовляя ей в уме своем сюрприз, подсел к ямщику, ударил его дружески по плечу и, указав пальцем на белевшееся впереди поле, приказал фореитору подгонять

лошадей.

Возок двинулся скрыпя, за ним кибитка и не ожидаемые костюковскими жителями гости со звоном и криком ямщиков стали подъезжать к узким воротам, подпертым с обеих сторон высокими сугробами.

Когда же передовые лошади возка, миновав кухню, направились к дому, вся дворня переполошилась и выбежала из избы. Кондратий Егоров принялся расталкивать сына своего, спавшего крепким сном на отцовской койке; Прокофьич спросонья же, надевая казакин, попадал руками в карманы вместо рукавов, и из всех служителей штаб-ротмистра один грязный мальчик в долгополой одежде встретил приезжих на крыльце дома, держа в одной руке сальный огарок в медном подсвечнике, а другою рукою прикрывая огонь со стороны ветра.

Ловко соскочил с козел Петр Авдеевич, отворил дверку возка и подал руку свою барыне, не зная еще, кого имел честь принимать и никак не догадываясь, что приезжая была не кто другая, как владелица богатого поместья Графского графиня Наталья Александровна

Белорецкая.

Войдя в так называемую залу костюковского дома, приезжая дама сделала маленькую гримаску; но тотчас же, улыбнувшись, заметила, что тут ей будет очень хорошо, и, все-таки называя Петра Авдеевича голубчиком, спросила, кому принадлежит дом и кому обязана она гостеприимством!

— Мне-с, — отвечал, смеясь и самодовольно, штаб-ротмистр.

— Как вам? — воскликнула не без удивления дама, осматривая с любопытством проводника своего.

— Точно так, что мне, — повторил Петр Авдеевич, наслаждаясь удивлением прекрасной незнакомки, — я помещик и дома этого, и усадьбы, отставной штаб-ротмистр Петр Авдеев Мюнабы-Полевелов.

— И я могла так ошибиться?

— Будьте-с, сударыня, на этот счет совершенно покойны-с; мы люди простые, доложу вам, и без всякой то есть церемонии; правду сказать, вышел на перекресток по забавному делу, но умолчу-с и за честь почту знать, с кем имею счастье-с...

— Я соседка ваша, — отвечала, премило улыбаясь, дама.

— Может ли быть-с?

— Имение мое, — продолжала дама, — как вы сами сказали, верстах в сорока отсюда.

— Как, — воскликнул штаб-ротмистр, — вы, сударыня, графиня Наталья Александровна?

— Именно.

— Ваше сиятельство! но такой чести могли же я то есть ожидать?

— Полноте, сосед, без фраз и титулов, пожалуйста; мы начали знакомство наше в вашем доме, и потому остаюсь покуда у меня в долгу; а чтобы подать вам пример добрых и коротких отношений, располагаюсь у вас, как у себя, без церемонии и прошу чаю.

— Ваше сиятельство, какая милость.

— Петр Авдеевич, я рассержусь.

— Но!

Графиня сбросила с себя капор, салоп и, дружески протянув руку штаб-ротмистру, запретила ему раз навсегда употреблять в разговорах с нею «ваше сиятельство» и просила позвать кого-нибудь из прислуги ее.

Изумленный и ошеломленный Петр Авдеевич не коснулся, разумеется, руками своими до беленькой ручки прелесной графини; но, поцеловав ручку эту на лету, бросился вон из залы.

Менее чем чрез полчаса, домик костюковский преобразовался совершенно; дощатый пол его покрылся толстыми персидскими коврами, окна и стены гостиной завесились шелковою зеленою тканью; по столам разостлались снежной белизны скатерти, на них заблестали серебро и хрусталь; медные подсвечники Петра Авдеевича заменились складными серебряными канделябрами, а вместо сального огарка запылало в комнатах множество восковых свеч. Самая атмосфера жилища штаб-ротмистра мгновенно изменилась, и незнакомый ноздрям его аромат распространился по всему дому.

По троекратному приглашению откусать с графинею чай, Петр Авдеевич, трепеща всем телом, решил наконец облачиться в сюртук свой, примочил волосы водою и, застегнувшись на все пуговицы, явился в гости в собственную гостиную.

Перед графинею кипел уже самовар, и monsieur Clément с почтительною торопливостью суетился у чайного прибора, ослепившего роскошью своею непривычные глаза штаб-ротмистра. Костюковский помещик робко поднял глаза сначала на прибор, потом на француза, весьма неучтливового, потому что француз этот не отвечал на поклон Петра Авдеевича, а потом уже на саму графиню. Графиня была учтивее: она приветствовала штаб-ротмистра такою улыбкою, таким благосклонным взглядом, пред которым все прелести Пелагеи Власьевны потеряли свою цену.

Бедный Петр Авдеевич не подозревал существования женщин, подобных Наталье Александровне, не мог представить себе, что на одной с ним планете водятся такие создания, которые одним взглядом любого богатыря и унижат ниже травы, и возвысят выше Колосса Родосского[102], у которых и не пунцовые щечки и не полные ручки, а как взглянешь на них, так и перевернется все около сердца; о глазах же графини штаб-ротмистр не в состоянии еще был сделать никакого за-

ключения: глаза эти принимали все цвета и все выражения, а когда останавливались на нем, тогда его собственные опускались к земле.

На графине была надета широкая черная бархатная мантилья, опушенная сереньким мехом, не знакомым штаб-ротмистру. Волосы ее, блестящие и черные, спускались двумя роскошными косами по обеим сторонам ее миниатюрного личика, прикрывая собою пару белых, как каррарский мрамор[103], детских ушей; из-под черного же платья выглядывала детская ножка, обутая в стеганую атласную ботинку.

С робостию вступив в гостиную и поклонясь французу, которого штаб-ротмистр принял за родственника приезжей, он остановился у дверей, не смея ступить далее.

— Вы видите, любезный сосед, что я распорядилась в доме вашем, как старая знакомая, и вполне воспользовалась гостеприимством, — сказала графиня, обращаясь к штаб-ротмистру. — Прошу теперь вас сесть возле меня и пить со мною чай; я устала ужасно.

— Не угодно ли будет вашему сиятельству

отдохнуть? — спросил Петр Авдеевич, медленно подходя к графине.

— О нет, нет еще; но позже, гораздо позже; напротив, мы должны поговорить с вами о многом.

— Со мною, ваше сиятельство? — спросил удивленный штаб-ротмистр.

— С вами, сосед.

— Что же прикажете-с, ваше сиятельство?

— Во-первых, сесть возле меня, вот так; во-вторых, не называть меня никогда сиятельством; в-третьих, пить со мною чай, потому что мы оба озябли, а в-четвертых, познакомить меня покорооче со всем вашим краем, и в особенности с тем местом, в котором я намерена поселиться, то есть с моею усадьбою.

— Неужели, ваше сиятельство, осчастливите уезд наш своим присутствием?

— И надеюсь прожить у вас довольно долго. А курите ли вы, сосед? *Clément, mes cigarettes!*[104]

Француз, вынув из кармана портсигар и положив его на серебряную тарелку поднес было графине, но она знаком указала на штаб-ротмистра, и *monsieur Clément* обратил-

ся к нему.

Петр Авдеевич вскочил на ноги и принялся раскланиваться, но графиня остановила его, объяснив, что monsieur Clément не кто другой, как камердинер покойного ее мужа и преданный ей слуга. Петр Авдеевич покраснел от излишней учтивости своей к французу и, взяв одну папироску, стал мять ее в руках, присев на кончик стула.

Когда же графиня начала курить, Петр Авдеевич зажег папироску свою пустым концом, а табачный положил в рот. Графиня, заметив гримасы, которые выделывал Петр Авдеевич, сама зажгла другую папироску и предложила ее штаб-ротмистру.

По прошествии часа времени любезность и простота в обращении знатной барыни успокоили совершенно внутреннее волнение костюковского помещика и сделали его разговорчивее. Куря папиросы и глотая чай, он стал громко смеяться, перемешивать речь разными шутками и называл графиню уже не «ваше сиятельство», а Натальей Александровною и почтенной соседущею.

— Признаюсь вам-с, — сказал он нако-

нец, — сначала мне так страшно было-с показаться пред вами; я даже, должен доложить вам, просто трясяся всем телом; думаю себе-с: ну как мне предстать пред лицом такой высокой особы? А теперь, верите ли, Наталья Александровна, точно-с будто видел вас всякий день, точно-с вы давнишняя знакомая, просто чувствую некоторую симпатию, право-с, смею уверить вас откровенно...

— Очень, очень рада, — отвечала смеясь графиня, — так и быть должно.

— Вы, может быть, смеетесь надо мною, ваше сиятельство? — заметил штаб-ротмистр, вздохнув.

— Вы этого не думайте, сосед.

— Не знаю, что и думать, Наталья Александровна; по правде сказать, и думать не смею.

— Полноте, полноте, Петр Авдеевич, недоверчивость к друзьям — предурная вещь.

— Разве вы можете, графиня, быть моим другом?

— Надеюсь, что могу.

— Нет, уж это, сделайте милость, этого вы не извольте и говорить; я и не воспитанный человек, не ученый, не чета вам, а все-таки

понимаю, какая разница между нами; вы богаты, вы знатны, а я маленький человек, и в друзья мне к вам лезть не под стать.

— Следовательно, вы отказываетесь от моей дружбы?

— Нечего отказываться, Наталья Александровна, речь не о дружбе, а чувствую, что, уж и сам не знаю почему, а прикажите в огонь, прикажите в воду — пойду в огонь и в воду, ваше сиятельство, и пойду, то есть за счастье сочту; а отчего это? не знаю-с.

Последнюю фразу штаб-ротмистр сказал с таким странным выражением в лице и голосе, что графиня, пристально взглянув на Петра Авдеевича, почла за лучшее переменить разговор и расспросила преподробно о соседях, о их быте, удовольствиях и занятиях, короче, обо всем, кроме дружбы.

Не могу утвердительно сказать, так ли внимателен был слух графини к ответам Петра Авдеевича, как глаза ее, которые не сводились с собеседника; как бы то ни было, но до двух часов пополудни просидел костюковский помещик с графинею; он просидел бы до утра, ежели бы графиня не уверила его, что

она не позволит себе употреблять долее во зло любезность хозяина и, несмотря на удовольствие беседовать с ним, решительно приказывает ему идти отдохнуть.

Петр Авдеевич пожал плечами, шаркнул и на цыпочках вышел вон из гостиной, унося с собою довольно новое для него чувство. Чувство это хотя и походило на то, которое увез он из уездного города после первой встречи с Пеллагею Власьевною, но в эту минуту было оно как-то глубже и еще неопределеннее.

Проходя мимо залы, штаб-ротмистр заметил в ней сидевшего француза, который при появлении помещика приподнялся было лениво на ноги, но Петр Авдеевич махнул рукою и прибавил шагу.

«Счастливец, бестия, мусье этот», — сказал сам себе штаб-ротмистр, и глубокий вздох вырвался из груди его; только на крыльце заметил он, что вышел из дому, но вспомнить никак не мог зачем. Проглотив с жадностью холодный воздух, штаб-ротмистр с полчаса поглазел на стоявшие у крыльца экипажи графини и, прозябнув до костей, побежал в свою спальню; у порога остановил его Ульянов.

— Что ты? — спросил Петр Авдеевич.

— Пожалуйте во флигель, барин, а в спальне вашей легла барыня, — прошептал слуга.

Весть эта привела костюковского помещика в такой восторг, что он уже не улыбнулся, а рассмеялся с детскою радостию и, зажав рукою рот Ульяну в знак молчания, повел его за собою, осторожно переступая ногами. Забыв шинель и фуражку, прошел Петр Авдеевич двор, осведомился у Кондратья Егорова, накормили ли людей, ямщиков, даже почтовых лошадей, и получил в ответ, что француз и горничная графини отказались от предложенного им ужина, а покушал только повар да еще какой-то человек русский, и то с барского стола; костюковский помещик отдал все нужные приказания и, раздевшись, лег на постель, приготовленную Ульяном в так называемой семейной. По прошествии часа залаяла на дворе цепная собака, и штаб-ротмистр, разбудив камердинера своего, приказал отвести ее на псарню. Несколько минут спустя запел петух; штаб-ротмистр сам отыскал петуха на соседнем чердаке и обошелся с ним так неделикатно, что петух не пел боль-

ше никогда. На рассвете послышался на дворе какой-то скрип: ямщики, привезшие графиню, качали из колодца воду для лошадей своих; штаб-ротмистр отогнал ямщиков от колодца и указал им пруд; короче, прогости Наталья Александровна в Костюкове еще недели с две, гостеприимный хозяин умер бы от бессонницы.

По мнению Петра Авдеевича, гостя его не могла пуститься в дорогу, не закусив чего-нибудь; так, по крайней мере, делалось всюду; вследствие чего и разосланы были мужички костюковские по окрестным помещикам скупить наличную дичь, рыбу, ежели таковая найдется, вино всех цветов и варенья.

Все это явилось в Костюково часам к восьми, и Прокофьич, разложив пред собою знакомую нам поварскую тетрадку, преважно приступил к созиданию *саламе*[105] из дичи и *кокилов а ля финансьер*[106].

«Ну, ежели да не успеешь? — говорил со страхом Петр Авдеевич, помогая Прокофьичу разбирать иероглифы кухонного наставника, — ведь просто полезай в петлю от стыда, братец».

И на это отвечал ему Прокофьич: «Будьте-с благонадежны, батюшка, нам не впервые готовить», а между тем вытирал Прокофьич рукою своею катившийся с чела его пот и тою же рукою собирал из-под ножа прыгавшие кусочки мяса и пододвигал их снова под нож. В полдень саламе и кокилы а ла финансьер достигли полной своей зрелости и графиня проснулась. Штаб-ротмистр приказал подать ей к чаю только что испеченные супругою Егорыча бабу и крендельки; графиня, с своей стороны, послала пригласить Петра Авдеевича откусать с нею кофе; разумеется, штаб-ротмистр не заставил ждать себя, и в той же гостиной, и в том же кресле, даже точно в таком же наряде, как накануне, застал он гостью свою, хотя и бледную, но встретившую его с восхитительною улыбкою.

— Как изволили ночь провести, ваше сиятельство? — спросил ее штаб-ротмистр.

— Прекрасно, — отвечала графиня, указывая ему на стул и не сделав на этот раз никакого замечания насчет «вашего сиятельства».

— И ничто не беспокоило вас? — продолжал Петр Авдеевич.

— Благодарю вас, мне было очень покойно.

— А я боялся, чтобы собаки как-нибудь или домашняя птица...

— Сон мой так крепок, Петр Авдеевич, что я никогда ничего не слышу.

— Тем лучше, ваше сиятельство.

В это время подал француз кофе графине и Петру Авдеевичу; потом взялся за большой серебряный поднос, на котором лежало множество разного рода печений, очень напоми-
навших знаменитого Рязанова[107], и рядом с ними огромная желтая мучная масса.

— *Qu'est ce que cela?*[108] — спросила графиня, смотря на эти незнакомые ей вещи.

Не поняв, но догадавшись, что вопрос касался костюмовского произведения, штаб-рот-мистр поспешил предупредить гостью свою, что поразивший ее огромностию своею предмет была баба.

— Как вы говорите?

— Баба, ваше сиятельство.

— Что же это значит? — спросила наивно графиня.

— Бабою называют у нас, ваше сиятельство, вот это; печется она из пшеничной муки

с разными специями; превкусная вещь; прикажете отрезать?

— Пожалуйста.

Штаб-ротмистр, засучив обшлага рукавов своих, взял бабу одною рукою, а другою нож и отхватил от нее кусок весом с полфунта, который и подал своей гостье.

— Но отчего же она такая желтая? — спросила графиня.

— Оттого, ваше сиятельство, что у нас для цвета подмешивают некоторое количество шафрана.

При этом объяснении личико Натальи Александровны едва заметно поморщилось; двумя пальцами отломилла она кусочек от поднесенного ей Петром Авдеевичем полуфунтового куса оранжевой бабы и поднесла пальцы к губам.

— Это очень вкусно, — заметила графиня, — и, право, очень жаль, что я ничего не могу есть утром, — поспешила прибавить она, закуривая папироску.

— Неужели вы не завтракаете? — спросил испуганный штаб-ротмистр.

— Никогда.

— Даже в деревне?

— Нигде, Петр Авдеевич.

— А я, ваше сиятельство, льстил себя надеждою предложить вам кое-что, по возможности.

— Право, не могу, извините меня.

— Хоть безделицу.

— Не в силах, Петр Авдеевич, а ежели вы уже хотите быть любезны до конца, то...

— Прикажете, ваше сиятельство!

— Мне бы хотелось, — продолжала графиня, — доехать засветло до дому, и потому...

— Неужели сегодня? — воскликнул с отчаянием Петр Авдеевич.

— Не сегодня, а сейчас, сию минуту, — сказала графиня тоном, который переменою своею поразил бедного косткжовского помещика, так отозвался этот тон чем-то непохожим на прежний.

Петр Авдеевич молча встал и направил шаги свои к дверям, но в свою очередь не ускользнуло и от графини впечатление, произведенное переменою тона ее на штаб-ротмистра, а потому, не допустив его до дверей, она назвала его.

Петр Авдеевич остановился

— Вы на меня не сердитесь, сосед? — спросила графиня со вчерашнею улыбкою на устах.

— Я-с, ваше сиятельство?

— Да, вы, Петр Авдеевич.

— Смею ли я, помилуйте-с.

— Нет, скажите откровенно, вы рассердились?

— Да за что же, ваше сиятельство?

— За то, что я спешу уехать.

— Мне грустно, ваше сиятельство, но это вздор, я понимаю, я то есть сам понимаю...

— Послушайте, сосед, — продолжала графиня таким сладким голосом, от которого в груди штаб-ротмистра перевернулось что-то, — я, право, устала и спешу; меня дома не ждут, и, приехав поздно, я рискую провести ночь в холодной комнате. Потом, милый сосед, не должны ли мы поступать друг с другом как короткие знакомые, как соседи, и потому, ежели бы вы захотели видеть меня, неужели сорок верст остановят вас?...

— Меня, ваше сиятельство?

— Ну да, вас!

— Сорок верст! — повторил с увлечением Петр Авдеевич, — да я, ваше сиятельство, пройду эти сорок верст без фуражки, на коленях... сорок верст!..

— Зачем же на коленях, сосед? — перебила, смеясь, графиня. — А вы просто дня через два садитесь в сани и приезжайте ко мне погостить подолее; вы приедете, не правда ли?...

— Нет, нет, ваше сиятельство, вы опять шутите, вы смеетесь надо мною, ей-богу, смеетесь.

— Я не только не смеюсь и не шучу, Петр Авдеевич, а беру с вас честное слово быть у меня послезавтра, — сказала графиня, протягивая штаб-ротмистру свою руку.

— Если же так, — воскликнул, не помня себя, Петр Авдеевич, — то, была не была, ваше сиятельство, вот вам рука моя, что буду... — и, хлопнув красною рукою своею по беленькой ручке графини, штаб-ротмистр выбежал из дому на двор и приказал запрягать лошадей.

Через час, проводив знатную барыню до околицы, Петр Авдеевич возвратился к дому; на крыльце собрал он руками довольно большое количество снега, обложил им себе голо-

ву и, войдя в свою комнату, лег на диван.

Он пролежал долго с закрытыми глазами, он пролежал бы до завтра в таком положении, но вскоре послышалось ему, что кто-то потихоньку отворяет дверь.

— Что тебе, Прокофьич? — спросил штаб-ротмистр, узнав своего повара...

— Кушанье-то осталось, батюшка, так не изволите ли сами откусать? — спросил повар.

— Убирайся с кушаньем, — было ответом Прокофьичу, и та же дверь потихоньку приотворилась.

Пролежав еще несколько времени, Петр Авдеевич услышал отдаленный звон колокольчика; сначала штаб-ротмистр открыл глаза, потом вдруг вскочил с дивана и стремглав выбежал на крыльцо... Что думал в ту минуту Петр Авдеевич — не знаю, но члены его тряслись, как в лихорадке.

На двор влетела ухарская, саврасая[109] тройка; из саней выполз укутанный в енотовую шубу городничий, а лицо штаб-ротмистра покрылось лиловым отливом...

— Здорово, брат, здорово, сударь, — кричал

Тихон Парфеньевич, обнимая крепко и целуя нежно Петра Авдеевича. — Ну, морозец, истинно святочный морозец; веришь ли — того и смотрю, что нос отвалится; тер всю дорогу. А я от сестры Лизаветы. Здоров ли же ты, мой почтеннейший? что же мы стоим на крыльце?

— Голова болит, — отвечал штаб-ротмистр, следуя за городничим.

— Приложи компресс из пенного, пройдет мигом, — заметил гость, входя в переднюю; потом, сняв с себя шубу, он стал принюхиваться. — Что это, брат, уж не пролили ль у тебя чего пахучего? такой аромат, — сказал Тихон Парфеньевич, продолжая шевелить ноздрями.

— Хорошо разве?

— Очень хорошо, чем же это накурено?

— И сам не знаю, — отвечал с улыбкою штаб-ротмистр.

— Как не знаешь?

— Ей-богу, не знаю!

— Стало, накурил не ты?

— Не я.

— Кто же бы такой?

— Не отгадываете, бьюсь об заклад.

— Подлинно не отгадаю; есть разве кто?

— Никого нет.

— Морочишь?

— Ей-богу, нет никого.

— Так был, — заметил пронизательный городничий.

— Вот это дело другое, — отвечал штаб-рот-мистр.

— Кто же бы такой?

— Не скажу.

— Ну, полно, говори.

— Ей-ей, не скажу.

— Секрет разве?

— Нет, шучу, Тихон Парфеньич; останавливалась у меня проезжая барыня: погреться просила, с дороги сбилась, я и пустил.

— Проезжая барыня? — повторил городничий, — уж не та ли, что в возке насилу тащат семь лошадей?

— А вы почему знаете?

— Ее встретил я на большой дороге: едва-едва двигается; экипаж такой грузный.

— Она, она.

— И кибитка позади?

— Она, она, — повторил штаб-ротмистр.

— Батюшки мои, — воскликнул вдруг городничий, как бы опомнясь, — избави боже, уж не графиня ли это?

— А что?

— Да говори, она ли это?

— Она.

— Так пропал, пропал же я, окаянный, пропал с головою, с ослиными ушами, вот как пропал, сударь! — кричал, взявшись за голову, городничий.

— Отчего же это? растолкуйте, пожалуйста.

— Оттого, сударь, что на прошлой неделе получил из губернского города предписание починить мост на Коморце; мост-то, сударь, просто капкан: кто бы ни поехал по нем, чубурах в реку; я-то и позабудь, прах меня возьми! и узелок завязал на память, да узелок-то вижу, а зачем завязал — из головы вон.

— Мост этот объехать можно, Тихон Парфеньич, — заметил штаб-ротмистр.

— Знаю, что можно, да придет ли им-то, ямщикам, в голову свернуть за версту на луга?

— Хотите, я пошлю в погоню?

— Кого?

— Тимошку.

— Батюшки, ради самого создателя! — завопил городничий.

— Ей-богу, пошлю.

— Голубчик, пошли да сейчас пошли! — кричал городничий.

Забыв головную боль свою, Петр Авдеевич, как сумасшедший, бросился со всех ног вон из комнаты, и, прежде чем встревоженный Тихон Парфеньевич успел опомниться, Тимошка скакал уже сломя голову на одной из пристяжных штаб-ротмистра по городской дороге.

Петр Авдеевич возвратился, запыхавшись, но с радостным лицом.

— Ну, видно, брат, тебе уж суждено всех нас выручать из беды, — сказал городничий, выходя к нему навстречу, — намерен спасти сестру и племянницу, сегодня меня.

«Не тебя, а ее, графиню, может быть», — подумал штаб-ротмистр, подставляя щеки свои губам Тихона Парфеньевича, и оба они перешли в гостиную.

— Обедали ли вы? — спросил гостя хозяин, усаживаясь с ним на диван.

— И аппетит пропал, — отвечал городничий.

— Полноте, Тихон Парфеньевич, и не догони Тимошка, я ручаюсь вам головою, что графиня не взыщет с вас.

— Знаешь ты больших барынь! — заметил городничий с некоторою ирониею.

— Не знаю других, а эту знаю, поверьте.

— Небось оттого, что отогрелась у тебя?

— Нет, Тихон Парфеньевич, не отогрелась, а переночевала, и обошлась со мною так милостиво, так ласково, что я пересказать то есть не могу.

— Шутишь?

— Ей-богу, правду говорю, Тихон Парфеньевич, и долго ли, кажется, довелось мне пробыть с нею: вчера пил чай, сегодня кофе, а так ее знаю теперь, как свои пять пальцев.

— Что же, сама она тебя позвала?

— Разумеется, не сам влез в комнату.

— И разговаривала? — спросил городничий.

— Словно с своим братом, Тихон Парфенье-

вич, — отвечал с жаром штаб-ротмистр, — ну, просто будто бы век были знакомы; и что за простота, и что за добродушие! Прелесть, с ума сойти надобно!

— Ты уж и то, мне кажется, сударь, того, — заметил, смеясь, Тихон Парфеньевич.

— Что же вы думаете?

— Нет, ничего, я говорю так, ради шутки.

— Скажите, что вы думаете?

— Ей-же-ей ничего!

— Вы хотели сказать, что я с ума спятил?

— Какой вздор! что ты, брат Петр Авдеевич?

— Да нет, скажите просто.

— Ну, вот тебе Христос, ничего не хотел сказать такого...

— И не думайте, Тихон Парфеньич, потому что я, ей-богу, и в мыслях своих не позволю себе, я, то есть, помню пословицу «знай, сверчок, свой шесток», а не могу не сказать, что очень добрая дама графиня Наталья Александровна, и между нашими дамами вряд ли сыщется такая добрая.

— Что же, приглашала она тебя? — спросил городничий.

— Приглашать приглашала, из учтивости, разумеется.

— А поедешь ты к ней?

— Не думаю, не полагаю ехать, зачем? не для чего.

— А не поедешь к графине, поедем к сестре Лизавете.

— Когда это? — спросил штаб-ротмистр поспешно.

— Да, пожалуй, хоть завтра, хоть послезавтра.

— Не могу, Тихон Парфеньич.

— Это почему?

— Вот видите ли почему, — продолжал Петр Авдеевич, краснея и заикаясь, — мне, как бы вам сказать, очень совестно так часто бывать у сестрицы вашей.

— Право? это новость!

— Вы выслушайте меня; я, то есть, всегда с особенным удовольствием моим готов был, и в эту минуту, но, право завтра и послезавтра...

— Странно, Петр Авдеевич, а сестра моя, кажется, не подавала вам поводу думать, что посещения ваши слишком часты, и принима-

ла вас она не как чужого, а близкого, чересчур близкого человека.

— Но вы меня не выслушали, Тихон Парфеньич.

— И слушать не хочу! садитесь со мною в сани и едем.

— Чтоб завтра быть назад, готов, — заметил штаб-ротмистр.

— Сегодня поздно, а завтра.

— Нельзя, Тихон Парфеньич.

— Так как хотите, сударь, мое дело сторона.

— Едемте сегодня! — воскликнул штаб-ротмистр.

— Поздно, говорю; мои кони устали, а на вашей пристяжной уехал Тимошка; да и спешить не к чему, — прибавил городничий, и лицо его нахмурилось.

К счастью Петра Авдеевича, разговор собеседников прерван был торжественным докладом Егорыча «кушать поставили», и гость с хозяином перешли в столовую или так называемый зал.

Перловый суп проглотил Тихон Парфеньевич молча; когда же подали на кастрюльной

медной крышке саламе, городничий искоса посмотрел на Петра Авдеевича, но тем не менее не пренебрег изящным произведением Прокофьевича; за саламе Ульян подал кокилы а ля финансьер; Тихон Парфеньевич не выдержал и спросил штаб-ротмистра, давно ли он стал так роскошничать?

— Признаюсь вам, почтеннейший Тихон Парфеньевич, я сдуру-то думал, что графиня останется у меня завтракать, — отвечал Петр Авдеевич смиренно.

— То-то и есть, братец, что знаешь ты хорошо этих гордючек, — подхватил городничий, — ценят они небось гостеприимство нашего брата, простака; хотя себя искроши да зажарь, и спасибо не скажут.

— Отчего же ей быть такою ласковою, Тихон Парфеньич?

— А в чем ты заметил, сударь, необыкновенную ласковость графини? Не в том ли, что осчастливила дом твой своим присутствием? Уж не думаешь ли ты, брат, что ее сиятельство рыскала целую ночь по лесам, чтобы отыскать именно тебя? Как же, сударь! Не попадись ей под ноги Костюково, рада-раде-

шенька была бы остановиться на постоялом, не то в избе.

— К чему говорите вы мне это все, Тихон Парфеньич?

— Для того, сударь, чтобы вы не забирали себе в голову всякой черемятицы, да не попали в шуты какой-нибудь графини, которая и не думает об вас.

— Тихон Парфеньич, вы не знаете Натальи Александровны.

— А знаю тебя, вот, брат, что!

— И меня не знаете, — заметил, понизив голос, штаб-ротмистр, которого слова городничего кололи, как острые ножи; и сознавался внутренно Петр Авдеевич, что Тихон Парфеньевич говорит правду, но вдруг переломить себя никак не мог.

Прения о графине продолжались до конца обеда, и кончились они тем, что городничий, очень недовольный будущим роденькою своим, распрощался с ним довольно холодно и уехал в город ранее сумерек.

Ровно через двое суток по отъезде графини из Костюкова, Петр Авдеевич уже мчался в санях по дороге, ведущей мимо села Сорочки в

село Графское. Поместье графини Натальи Александровны Белорецкой принадлежало к числу тех, которыми некогда награждали русские цари заслуженных вельмож своих. В поместьях этих итальянские зодчие осуществляли гигантские планы Возрождения; Каррара снабжала их своими мраморными масса-ми, Урал — золотом, а Венеция — зеркалами.

— Спасибо, брат, за доброе слово! — отвечал штаб-ротмистр, — а как между людьми хорошего дела не делается без спрыску, так отведи ты мне коня в Костюково, а за уздечкою не постою, братец, и ребят всех попотчуеть.

Пока чертог поднимался горделиво, как бы послушный волшебному жезлу художника, из окрестных лесов сбегались толпою вековые дубы, столетние сосны, ветвистые ивы и клены; группируясь вокруг чертога, они образовывали собою бесконечные зверинцы и парки, а их опоясывали каменными стенами, перерезывали глубокими рвами и засыпали тысячью клумб из ароматических цветов. К подобному диву вкуса, величия и роскоши принадлежало настоящее жилище прекрас-



ной графини Натальи Александровны; но в декабре трескучий мороз набросил на парки, цветники и зверинцы села Графского свои серебристые покровы.

Когда перед глазами штаб-ротмистра стали показываться, одно за одним, здания графининой усадьбы, он невольно вспомнил слова Тихона Парфеньевича.

«Куда принесла меня нелегкая? — подумал Петр Авдеевич. — За каким прахом? Уж не

вернуться ли, полно? Нет, поздно, вот и дом, какой дом? не дом, а дворец! и конца ему нет! ей-богу, вернусь».

— Петр Авдеевич! — крикнул в это время кто-то, но таким голосом, от которого у Петра Авдеевича занялось дыхание. — Петр Авдеевич! — повторил тот же голос, но несколько далее.

— Графиня! — воскликнул штаб-ротмистр, оглядываясь и сбрасывая с себя шинель. — Как! в санках, одиночкой и одни с кучером?

— А вас это удивляет, сосед?

— Глазам не верю, ваше сиятельство.

— Не верите, так наденьте шинель и прошу пересесть ко мне, в сани; вы умеете править?

— Лучше всякого кучера, ваше сиятельство.

— Очень рада, пожалуйста поскорее.

С проворством юноши перескочил штаб-ротмистр из своих пошевней[110] в санки графини, принял вожжи из рук кучера, которого графиня отослала домой, и приготовился везти ее хотя на край света.

— Поедем в лес, вы не боитесь? — сказала

Наталья Александровна, обращаясь к Петру Авдеевичу.

— Жаль мне, ваше сиятельство, что в лесах-то наших бояться нечего, а то я доказал бы вам, — отвечал штаб-ротмистр, ударяя вожжами темно-серого бегуна.

Гордое животное, не привыкшее к подобному обращению, взвилось было на дыбы, фыркнуло и, закусив удила, помчалось стрелою по гладко укатанной дороге; но Петр Авдеевич знаком был с этим делом и, подобрав вожжи, неожиданно передернул их и поставил коня по-своему, то есть поставил его на рысь по версте на минуту и пятьдесят шесть секунд.

— По вашему сиятельству и лошадь, — заметил он, как бы говоря сам с собою.

— Не правда ли, что не дурна? — отвечала графиня, прикрывая личико свое черным соболем муфты.

— Не не дурна, а призовый должен быть!

— Как это призовый?

— То есть, ваше сиятельство, конь этот должен был брать призы, деньги то есть.

— Этого я, право, не знаю; кажется, иногда

муж мой посылал лошадей куда-то.

— Верно, так, быть не может иначе, ваше сиятельство; кому же и братъ, как не такому! Взгляните на грудь, на мышцы, на мах, а круп-то, круп — печь печью.

— Вы страстны к лошадям, сосед?

— Умер бы с ними, ваше сиятельство!

— А есть у вас хорошие лошади?

— У меня? Да откуда они будут у меня? Разве продать жиду именъишко да купить одну, и то купишь ли, полно?

— Хотите, я продам вам?

— Что это, ваше сиятельство?

— Лошадь, — отвечала графиня.

— Какую лошадь?

— Точно такую, как эта.

— А Костюково мое возьмете себе?

— Какой вздор!

— Как вздор? да чем же я заплачу?

— Я подожду, сколько хотите, — сказала графиня смеясь.

— Нет, уж извините, таких дел отродясь не делал, да и умру, надеюсь, не сделаю.

— Вы поступаете со мною не так, как добрый сосед, и не дружески, Петр Авдеевич.

— А вы, ваше сиятельство, и сам не знаю за что, обижаете меня.

— Чем это?

— Об этом после, ваше сиятельство, — сказал затронутый за живое штаб-ротмистр.

— Я хочу теперь, сию минуту!

— Вот лес, графиня, и две дороги, куда прикажете?

— Мне все равно, а все-таки прошу сказать, чем я обидела вас?

— Вы сами знаете, ваше сиятельство! За что бы, кажется, обижать меня? Я ведь, ваше сиятельство, от души то есть предложил вам мою бедную хату, ваше сиятельство, не из видов каких-нибудь, и умер бы, ваше сиятельство, с радостью за вас, а за смерть заплатить нельзя...

Последние слова произнес Петр Авдеевич так нетвердо, так несвязно и так как-то грустно, что графиня, выслушав их, схватила его за руки и крепко пожалала их...

Думая, что надо остановиться, штаб-ротмистр осадил коня и посмотрел на графиню... Он перепугался: глаза графини казались ему страшны.

— Не сказал ли я чего глупого, ваше сиятельство? — робко проговорил штаб-ротмистр.

— Не вы, а я сказала глупость и виновата пред вами, — воскликнула графиня, — но успокойте меня, Петр Авдеевич, и скажите, что вы забудете ее со временем.

— Эх, ваше сиятельство, охота же вам, право, говорить так со мною! Велика важность! Ну, сказали так сказали, и сказали бы больше подобному мне, ничего...

— Петр Авдеевич, вы не добры!

— Куда ехать, ваше сиятельство?

— Домой! — отвечала графиня и всю дорогу молчала.

Подъехав к великолепному дворцу своему, графиня не вышла из саней, пока выбежавший слуга не принял вожжей из рук штаб-ротмистра, тогда только с легкостью сильфиды[111] выпрыгнула она на землю и в сопровождении Петра Авдеевича вошла в светлую и обширную прихожую, отделявшую подъезд от главной лестницы.

— Ежели вам угодно прежде всего познаться с комнатами, для вас приготовлен-

ными, Петр Авдеевич, — сказала графиня, обращаясь к штаб-ротмистру, — то я провожу вас в них сама...

— Для меня приготовленными? — повторил изумленный костюковский помещик.

— Надеюсь, что вы для меня сделали бы то же.

— Но вы и я, графиня?

— Не все равно, Петр Авдеевич только потому, что я добрее вас.

— В ум не взберу, ваше сиятельство!

— Вам угодно, чтобы я объяснилась?

— Смею умолять об этом, ваше сиятельство, — сказал штаб-ротмистр, все еще не понимая графиню.

— Извольте; предлагая вам купить у меня лошадь, я нимало не думала о средствах ваших, Петр Авдеевич, и действовала, собственно, по желанию сделать себе удовольствие; но вы приняли иначе предложение мое, и я поспешила сознаться в вине и просила прощения. Что же сделали вы, я вас спрашиваю?

— Что же сделал я, ваше сиятельство? разве я сделал что-нибудь?

— Еще бы! наговорить мне кучу неприят-

ностей, наморщить лоб и не простить!..

— Графиня! — проговорил Петр Авдеевич жалобным голосом.

— Что графиня? ну, что вы придумали к своему оправданию?

— Где же мне? и не докладывал ли я вашему сиятельству, что милости ваши лишили меня последнего умишка; придумайте уж вы что-нибудь.

— Согласна, но с условием.

— Все выполню, все, графиня!

— Честное и благородное слово, Петр Авдеевич?

— Мало слова, клятву даю.

— Прекрасно, — сказала графиня, улыбаясь, — Петр Авдеевич! лошадь, на которой мы с вами ездили сегодня, я не продам никому и никогда.

— И прекрасно сделаете, ваше сиятельство!

— Петр Авдеевич! — повторила графиня с комической важностью. — Лошадь эту я дарю вам; теперь посмотрим, осмелитесь ли вы не принять ее в знак дружбы моей.

— Графиня, графиня! — проговорил штаб-

ротмистр, всплеснув руками.

— Поцелуйте эту руку, и ни слова больше. Я проголодалась, и обед ожидает нас.

Петр Авдеевич, у которого на глазах невольно навернулись слезы, с жаром поцеловал протянутую ему ручку и не последовал за графинею, а вошел в свои комнаты, дверь которых указала ему утешенная, как дитя, Наталья Александровна. Кто найдет неестественным характер графини Белорецкой, кому покажется несбыточным описанный мною образ действий ее, тот, конечно, не встречался во всю жизнь свою с теми существами, которых в провинции называют «большими барынями», а в большом свете «grandesdames»; привилегированные существа эти не должны и не могут быть сравниваемы с теми женщинами, о рождении которых не говорит седьмая часть мира, юность которых не нежит и не лелеет все высшее общество и брак которых не считается эпохой. Огражденные от всех лишений, от всего того, что возрождает зависть и злобу, создания эти не могут не иметь благородных чувств и доброго сердца; добро для них забава, щед-

рость — привычка, а твердая, непоколебимая воля — неотъемлемое, неоспоримое право!

Графиня Наталья Александровна, дожив в столице до двадцатичетырехлетнего возраста, не знала еще, что значит любить, и не знала потому, что вечно окружавшая ее толпа вздыхателей мешала графине встретиться с человеком, которого бы могло избрать ее сердце. Все мужчины казались ей одинаковы; но, не желая выезжать далее восемнадцатилетнего возраста без головного дамского убора, Наталья Александровна пристально взглянула в толпу, и тот, кто стоял выше прочих, сделался мужем ее. Муж этот умер; графиня надела черное платье; оно шло к ней, но столица без балов, без праздников, без оперы и раутов — прескучная вещь; она вспомнила о поместье своем, в котором не была ни разу; о деревне графиня не имела никакого понятия; слышала от многих, что есть там сады, не имеющие границ, и что называют их лесами; есть поля необозримые, есть реки, несущие волны свои произвольно, наконец есть люди, не говорящие по-французски, не танцующие польку, полудикие, смешные может быть, не

знакомые ей и не похожие ничем на столичных. Подумав немного, графиня приказала готовить все к отъезду, и с первым полудикарем, ни в чем не похожим на столичного жителя, познакомилась в костюковском деревянном домике.

В первую минуту Петр Авдеевич показался ей очень забавным, во вторую честным и бескорыстным человеком, а в третью... но остановимся пока на второй.

Комнаты, назначенные графинею Петру Авдеевичу, конечно, никогда не были приготовлены собственно для него, а принадлежали к разряду второстепенных комнат, назначенных для помещения гостей. Не менее того штаб-ротмистр поражен был их роскошным убранством, и чего недоставало в них? Голландское белье на постеле, стол с полным письменным прибором, даже писчая бумага и все нужное для письма, как-то: ножичек, чернильница, всякого рода металлические перья, сургуч различных цветов и прочее.

«Неужели все это для меня, для меня, бедного Петра? — повторял сам себе штаб-ротмистр, рассматривая всякую вещь порознь. —

А лошадь, тысячная лошадь! Снилось ли мне когда такое сокровище? В знак дружбы, говорит этот ангел, а, кто ее знает, может быть, и бес-искуситель. Что заговорят в уезде, когда я покажусь на этом коне? что скажет городничий, Лизавета Парфеновна, Полинька? А я, дурачина, думал, что уже лучше ее и на свете нет; вот тебе и лучше, — можно ли же сравнить не то чтобы со всею графинею, а с мизинцем ее, так и мизинца не стоят все Пелагеи Власьевны вместе; подумать то есть невозможно».

Вот как рассуждал штаб ротмистр, и какими глазами смотрел он на ту женщину, которая еще за три дня казалась ему верхом совершенства.

Какое счастье, что любящие нас не одарены способностью проникать в сокровеннейшие думы наши, заглядывать в изгибы вероломного сердца нашего, как искренно возненавидели бы они весь род мужской!

К счастью Пелагеи Власьевны, она и не подозревала постигшего ее удара; весть о приезде графини в поместье достигла до Сорочков, но могло ли прийти в голову бедной девушке,

что избранный сердцем ее человек не только проезжает уже украдкою мимо самых ворот их села, но даже и не сравнивает ее, свеженькую, розовую, с бледною, худощавою графинею, и не сравнивает потому, что, по мнению Петра Авдеевича, невозможно никакое сравнение. Переходя из комнат своих в аванзалы [112] и залы графининых палат, штаб-ротмистр переходил от удивления к удивлению. Каждое украшение потолков и стен, каждая мебель обращали на себя его жадное внимание; он не смотрел, а впивался взглядом в прелестные формы олимпийских богинь, в рельефные прелести наяд [113], разбросанных по карнизам, в позолоченных амурах и в фантастические узоры стен; все видимое казалось штаб-ротмистру игрою сна, грезами разгоряченного воображения; он неоднократно дотрогивался до стен и мебели, чтобы убедиться, что предметы эти не призраки.

Обед графини довершил очарование. Петр Авдеевич ел и не понимал, что ел, пил и не знал, что пил; когда же свежие плоды предстали пред ним точно в таком виде, в каком видал их костюковский помещик во время

жаркого лета, он грустно улыбнулся и отвел рукою вазу, поднесенную французом.

— Отчего же вы не хотите сделать чести оранжереям моим, Петр Авдеевич? — спросила графиня.

— Я сыт, ваше сиятельство.

— Но плоды эти очень вкусны, уверяю вас.

— Именно от этого я и отказался от них...

Они слишком вкусны для меня; отведав их раз, захочется и в другой.

— Ну, что же за беда; вы будете чаще приезжать ко мне, сосед.

— А долго ли придется приезжать?

— Надеюсь, что долго.

— Все-таки не всегда, не вечно.

— Вечность на земле не существует, Петр Авдеевич.

— Правда, — заметил штаб-ротмистр, — но зато существует тоска, которая, кажется, длиннее вечности, ваше сиятельство.

— Браво! вы философ.

— Прежде я был покоен и доволен судьбою, но, насмотревшись на все это, боюсь, графиня, чтобы изба моя не показалась мне острогом, а щи и каша... да что тут рассуж-

дать, ваше сиятельство! Вот, извольте, видеть на вашем бы месте, доложу вам, я бы не пускал к себе бедных людей; от бедности не далеко, того... и до дурного чего-нибудь...

— Вам за себя бояться нечего, — заметила графиня.

— Знает бог об этом!

— И не поверю я, — продолжала графиня, — чтобы вся эта мишура могла серьезно пленить вас, и может ли быть, чтобы вы не видали ничего лучше?

— Стены случалось видеть, хоть и не совершенно такие, а приблизительно, столы и стулья также, серебра много видел!..

— Что же остается, Петр Авдеевич?

— Что, что! — повторил штаб-ротмистр, воспламеняясь, — не случалось мне, графиня, слышать голоса своего посреди таких стен, и не случалось мне сидеть на такой мебели. Вот чего не случалось! — прибавил штаб-ротмистр, вставая прежде хозяйки.

Это простое выражение мысли, эти немногие безыскусственные слова глубоко врезались в душу знатной барыни. Не жалость и не простое участие к положению гостя, но что-

то похожее на то и на другое пробудилось в сердце Натальи Александровны; она не смотрела более на костюковского помещика как на une bête curieuse[114] не улыбалась его кудреватым, степным изречениям, не забавлялась им более.

После обеда графиня просила гостя не жевироваться с нею[115] и идти отдохнуть, прибавив, что и она имеет эту привычку.

Петр Авдеевич предпочел посетить конюшню, а главное полюбоваться поближе драгоценным залогом дружбы к нему ее сиятельства.

На пути к длинным каменным строениям, где помещался конный завод, штаб-ротмистру повстречался низенький, но свежий старичок, в меховой коричневой бекеше[116] с кунным воротником и шапке из бобровых выпорков[117]; старик вежливо поклонился Петру Авдеевичу и отрекомендовал себя управляющим села Графского.

— А позвольте узнать имя и отчество ваше, — спросил штаб-ротмистр, сняв фуражку.

— В Курляндии, — отвечал старик смеясь, — звали меня Готфрид-Иоган Гертман, а

здесь трудно показалось мужичкам запомнить настоящее имя, и меня привыкли просто звать Федором Ивановичем.

— Позвольте же и мне называть вас так же.

— Сделайте одолжение.

— Я, Федор Иванович, иду взглянуть на лошадей ваших, ежели позволите то есть.

— Пожалуйста, лошади хорошие у нас.

— Не то что хорошие, а я и сам служил всю жизнь в кавалерии, а таких встречать не случилось.

— Крови чистой, самой чистой!

— Чего чище? — прибавил штаб-ротмистр, — а слышали ли вы, Федор Иванович, что ее сиятельству угодно было подарить мне того серого коня...

— Что был давеча в запряжке? — сказал, улыбаясь, немец.

— Да, да.

— Жеребец Горноста́й.

— А! зовут его Горноста́ем, Федор Иванович? — спросил штаб-ротмистр.

— Да-да; родился он у нас от Умного и мистрисс Лемвод три весны назад; покойный

граф назначал его к бегу, — конь чудный.

— Скажите мне, пожалуйста, Федор Иваныч, можно ли дарить таких лошадей?

— На то воля графини, — заметил управляющий.

— Положим, воля ее; можно всех раздарить; но первому встречному...

— Разве прежде вы не были знакомы с ее сиятельством?

— Никогда, Федор Иваныч.

— И не встречались?

— И не встречался.

— Странно, очень странно! — заметил управляющий, качая головою, — значит, вы ей особенно понравились.

— И сам не понимаю, за что столько милостей, ума не приложу.

— Между нами сказать, — продолжал Федор Иванович, понизив голос, — у богатых и молодых барынь бывают иногда свои капризы; иному выпадет жребий такой, и не приснится ему, и пойдет и пойдет валить счастье; кто знает, может, и вы... сегодня лошадь, завтра деревушка-другая...

— Что вы там говорите? — спросил штаб-

ротмистр, нахмутив брови.

— Я говорю, что кому счастье улыбнется раз, может улыбнуться и десять.

— Уж будьте уверены, что только не мне, Федор Иваныч; поймала графиня раз, говорит: возьми в знак дружбы; отказаться то есть было нельзя; а деревушек дарить не станет, будьте-с покойны на этот счет, Федор Иваныч.

— Тут ничего нет дурного.

— По-вашему, может быть, а по-нашему, извините.

— Графиня так богаты, что ей и тысячи ни-почем.

— Пусть при ней остаются ее тысячи; Горноста я взял, правда; буду холить его, кормить, но давай мне за него, кто хочет, тысячу душ, не будь я дворянин, коли подумаю продать. Подарок, так пусть умрет со мною; по крайней мере, в корысти никто не осудит.

Разговаривая между собою, новые знакомцы наши дошли до завода, пересмотрели всех лошадей поодиночке; Лучшим приказал Федор Иванович сделать выводку.

Вооружась длинным бичом, штаб-рот-

мистр распорядился в конюшнях графини, как бывало у себя в эскадроне; заметив что-нибудь, он гонял конюхов, берейторов[118], давал им наставления, поверял им разные тайны ветеринарного искусства, и глубоким знанием своим удивил всех конюхов без исключения.

Все наперерыв старались заслужить по своей части одобрение Петра Авдеевича и потому не только не уклонялись от исполнения его желаний, но старались их предупредить.

Когда же очередь дошла до Горностая, штаб-ротмистр, несмотря на предостережение трусливого Федора Ивановича, смело вошел в стойло; конь захрапел и, приложив уши, стал суетиться.

— Он съест вас, берегитесь! — закричало несколько голосов.

— Кого? меня? а вот увидим! — отвечал, смеясь, Петр Авдеевич.

Крикнув на жеребца, он стал сглаживать его сначала по спине, потом по шее, наконец по морде, потом отвязал повод от кольца, и, как старый знакомый Горностая, вывел его преспокойно из стойла, к великому удивле-

нию зрителей.

— Ну, что же ты не ешь меня, зверь ты этой, разбойник? — проговорил Петр Авдеевич, держа на длинном поводу жеребца, который, как бы понимая ласки своего нового повелителя, плясал и заигрывал с ним, оскаливая зубы и расширяя ноздри. — Ну, что же ты? ешь! пора бы, кажется. То-то, ребята, — продолжал штаб-ротмистр, обращаясь к конюхам, — не так умен человек, как чуток конь; покажись ему трусом, нос откусит, как пить даст; подойди же к нему молодцом да задай острастку на первый случай, небось поймет, bestия!

— Как не понять, поймет поневоле, живот не глупый, — отвечали в толпе, окружавшей отважного штаб-ротмистра.

— Вашей милости и владеть конем таким, — заметил один из старших наездников, плечистый и рослый малый с окладистой, черною, как смоль, бородою, — и с конем расстаться не жаль нашему брату.

— Много довольны милостию вашею, Петр Авдееч, — закричали конюхи в один голос, — подобра да поздорову ездить вам на Горно-

стае-то нашем и не изъездить его во веки веков.

— Да будет по-вашему, ребята!., теперь же поставьте коня! на дворе-то смеркается, и нам пора, Федор Иваныч; вы не зайдете к ее сиятельству?

— Зачем же мне беспокоить их? — отвечал управляющий. — За приказанием являюсь я поутру.

— А вечерок посидеть бы вместе.

— Как это посидеть?

— Ну, просто, Федор Иваныч, как сидят вечера; чай, графине одной скучно; посторонний человек и скажет что-нибудь, и все такое.

— У нас этого не водится, — прошептал, улыбаясь, старик, — вы гости, другое дело, а нашему брату нейдет проводить вечера с графинею; прикажут они позвать, явлюсь; без приказания, зачем нам? беспокоить всякому не приходится.

— Стало, вы налево, а я направо, почтенный Федор Иваныч?

— А уж так, что я налево, — отвечал управляющий, снимая шапку и низко кланяясь.

— Прощайте же, прощайте!

— Доброго вечера желаю... — повторил немец, отходя с наклоненною головою от костюковского помещика, который, внутренно гордясь преимуществами своими в доме ее сиятельства, направил стопы к главному подъезду дворца.

Слуга доложил Петру Авдеевичу, что ее сиятельство приглашает его на малую половину.

— А где же эта малая половина? — спросил штаб-ротмистр.

— С другого подъезда, — отвечал слуга, — угодно, я провожу вас?

— Сделай, братец, одолжение!

Слуга обвел гостя кругом главного корпуса и, отворив небольшую дверь решетки сада, указал Петру Авдеевичу на ряд ярко освещенных окон нижнего этажа и на небольшое каменное крылечко, примыкавшее к окнам.

Малая половина графини состояла из нескольких комнат, устроенных под сводами, отделанных и убранных в последнем вкусе. По гладким стенам, обтянутым обоями, висело множество картин современных школ; все они дышали свежестью и легкостью колори-

тов; в промежутках картин пестрелись гипсовые группы; по углам горки с цветами. В самой отдаленной от входа комнате, в большом мраморном камине пылал огонь, а против огня, у круглого рабочего столика, сидела Наталья Александровна и читала, когда вошел штаб-ротмистр.

— Как у вас и здесь хорошо, — сказал Петр Авдеевич, оглядываясь во все стороны.

— Я очень люблю этот уголок, — отвечала графиня, откладывая книгу.

— Кто же бы не полюбил?

— А знаете ли, Петр Авдеевич, что эта самая часть дома два года назад занята была кладовыми и погребями. Кто же бы поверил этому теперь...

— Зная коротко ваше сиятельство, почему же бы и не поверить, — заметил Петр Авдеевич.

— Но превращение это сделала совсем не я.

— Кто же-с?

— Покойный муж мой; усадьба принадлежала ему, но, я, право, не знаю почему, он не любил ее.

— Вот это уж странно, ваше сиятельство.

— Вероятно, отдаленность от Петербурга пугала его. К тому же в его годы не любят, обыкновенно, ни дурных дорог, ни одиночества.

— Каких же лет был покойный граф?

— Мужу моему было более шестидесяти пяти.

— Может ли быть-с?

— Ежели не семьдесят, — прибавила, улыбаясь, графиня.

— И ваше сиятельство решились выйти за такого старика?

— Я была с ним очень счастлива, Петр Авдеевич.

— Не смею не верить, а странно!

— Граф был умен, добр и любил меня очень; для супружеского счастья больше ничего не нужно, полагаю. Вы же почему не женитесь, сосед?

— Ах, ваше сиятельство, в нашем быту вещь эта куда мудреная; сам беден, да возьмешь бедную жену, пойдут маленькие, жизнь проклянешь.

— Поищите богатую невесту.

— А где ее найдешь? И найдешь, ваше сиятельство, неволя ей идти за такого, как я, например.

— Вы слишком скромны, сосед; и в столицах очень часто бедные люди делают блестящие партии, сколько примеров знаю я!

— Бедные, согласен, да бедные эти будут пообразованнее, то есть повоспитаннее меня, ваше сиятельство... и по-французски говорят, и кое-что читали, так, если приоденется да приедет в дом, никому и невдогад, что молодцу дома и перекусить нечего; а мы, ваше сиятельство, только взглянуть на нас, так и виден медведь, если не хуже.

— Никто не мешает вам, Петр Авдеевич, выучиться говорить по-французски, ежели только вы находите это необходимым, — сказала графиня, — это зависит от вас.

— Зависит от меня?

— Конечно; человек с вашим характером достигнет всего, если только твердо захочет.

— Вы не шутите, ваше сиятельство? — опросил Петр Авдеевич.

— Поверьте, нет.

— И ежели бы я только захотел то есть вы-

учиться по-французски...

— Вы бы в самое короткое время стали понимать все, а следовательно, и читать.

Штаб-ротмистр крепко задумался.

На следующее утро, едва солнце позолотило первым лучом своим верхушки дерев и металлические кресты церквей уездного города, как в заставу этого города внеслась уже тройка Петра Авдеевича. Немец пошел за ключами, а графиня накинула на себя мантилью, позвала *monsieur Clément* и, в сопровождении его, отправилась в теплые кладовые графского дома.

— К городничему, что ли? — спросил Тимошка, оборотившись к барину.

— Нет, нет, — отвечал штаб-ротмистр, оглядываясь кругом, — а как бы то... узнать, где живет тот... как бишь его зовут-то? Лукьян, или нет, Дмитрий Лукьяныч, кажется.

— Смотритель, что ли?

— Ну да, да, да, а ты его знаешь?

— Над училищем что заведует?

— Так, так.

Не отвечая ни слова, Тимошка повернул лошадей вправо, выехал на площадь и, не до-

езжая дома городничего, обогнул аптеку и пустился вдоль узкого переулка по направлению к ручью.

Штатный смотритель жил на самом живописном месте города; трехконный дом его, подгнивший снизу и искривленный набок, как бы воткнут был в исходящий угол вала, висевшего над грязною пропастью; перед домом расстилались огороды, испещренные кучами тех веществ, которые внушают невольное отвращение; местами виднелись красноватые остовы падших животных всякого рода, над которыми трудились пестрые стаи одичалых собак; не редко случалось хозяину дома замечать близ самых ворот своих свежие следы волков, но, не имея страсти к охоте, штатный смотритель не обращал на них никакого внимания.

— У себя Дмитрий Лукьяныч? — спросил штаб-ротмистр, с трудом поднимаясь по извилистой тропинке, соединявшей улицу с калиткою дома.

Вопрос этот был сделан Петр Авдеевичем женщине, не совсем старой, не совсем опрятной и не совсем обутой, тащившей за собою

из калитки санки, нагруженные не совершенно чистым бельем, прихваченным морозом; на белье сидела девочка, лет трех, в нагольном тулупчике, красном клетчатом платке на кудрявой белокурой головке И с страшною, нечистотою под носом.

— Ходитсё, у дому, у дому, — отвечала женщина, постороняясь, чтобы дать гостю место пройти.

Петр Авдеевич осторожно перелез чрез высокий порог калитки, прошел по доске узкий дворик, заставленный развалинами, и вскарабкался на высокое, сырое и животрепещущее крыльцо; из сеней вылетели ему навстречу две испуганные курицы, а в прихожей встретил его сам хозяин, в ситцевом, коротком, изношенном халате и каких-то суконных башмаках.

Пораженный появлением у себя ненавистного человека, штатный смотритель вытарашил на него глаза и не нашел что сказать.

Заметив впечатление, произведенное прибытием своим, штаб-ротмистр улыбнулся и начал речь извинением, что беспокоит так рано хозяина, но обстоятельства и покорней-

шая просьба, которую имеет объяснить...

— Просьба! у вас, ко мне? — спросил Петра Авдеевича смотритель.

— Точно так, Дмитрий Лукьяныч, и очень важная.

— Милости просим в кабинет, — прибавил хозяин, указывая на дверь в единственный покой свой, не совершенно похожий на кабинеты вообще. Кабинет штатного смотрителя заключал ольховую кровать, покрытую овчинным тулупом, стол, обитый кожей, и черный деревянный диван, ничем не обитый.

— Желал бы я-с получить от вас некоторые сведения, Дмитрий Лукьяныч, — начал Петр Авдеевич, войдя в кабинет.

— Какого рода прикажете?

— По должности, которую вы занимаете, — продолжал штаб-ротмистр, — вам должно быть небызвестно, каким способом преподается французский язык?

— Француз-ский язык? — протяжно повторил штатный смотритель. — А вам на что эти сведения?

— Крайне то есть нужно.

— Но французский язык преподается про-

сто.

— Как просто?

— Просто-с.

— Как же именно просто?

— Французский язык преподается, как всякий язык, у нас, в училище.

— Ну, как русский, например? — спросил Петр Авдеевич.

— Ну, нет-с, не совсем так; однако же приблизительно; ученикам задается-с урок, и ежели ученик не знает, то, сообразно с уставом уездных училищ, ему...

— Вы не совсем поняли меня, — перебил гость, — я желал бы знать, легок ли способ преподавания и надежен ли учитель вашего училища; вот что мне крайне интересно.

— Учитель? учителя я знаю коротко и могу сказать, что добрый и честный человек; беден, это правда, впрочем, когда бы ни зашел к нему, найдешь рюмку водки и закуска найдется[119]; жена у него хозяйка.

— А кто он?

— Учитель?

— Да.

— Он, бог его знает, кто такой и откуда, а

кажется, иностранец, выговор, знаете, не совсем чистый: картавит и не выговаривает многих слов, даже иногда, знаете, смешно делается, когда слушаешь.

— А согласился ли бы он, Дмитрий Лукьяныч, научить французскому языку?

— Кого же это?

— Да уж там все равно.

— Уж не Пелагею ли Власьевну? — заметил смотритель насмешливо.

— О нет, я давно не был у них, и бываю-то редко.

— Давно ли ж это, Петр Авдеич?

— Довольно давно.

— Не поссорились ли?

— Нет, а так, времени нет.

— Новость, коли правда.

— Ей-богу, не лгу, как-то не случается; а познакомив меня с учителем, вы то есть крайне одолжили бы меня, Дмитрий Лукьяныч.

— С большим удовольствием, ничего нет легче, — отвечал вполголоса успокоенный смотритель, — хотите, сию минуту пошлю за ним.

— Очень обяжете.

— Сейчас пошлю; он живет с аптекою на одном дворе. Кстати, послать кучера вашего, он мигом слетает; хотите, я растолкую ему адрес? а вы покурите покуда трубочку; табак в столе, без церемонии; вы потрудитесь набить сами, а то людей всех разослал, один сижу.

Послав сани штаб-ротмистра за французским учителем, штатный смотритель возвратился в кабинет свой и издалека завел речь сначала о городничем, потом и о Елисавете Парфеньевне.

— А у нас, в городе, слухи пронеслись было, что в семействе Тихона Парфеньича затевается свадьба, — сказал Дмитрий Лукьянович.

— Не слыхал; не из дочерей ли какая выходит замуж? — спросил рассеянно штаб-ротмистр.

— Уж будто и не знаете, про кого я хочу сказать, Петр Авдеич?

— По совести, не знаю.

— Полно, полно!..

— Ей-же-ей, не знаю и не слыхал ни от кого.

— Небось не были ни разу у Кочкиных-с?

— Быть у них был, бывал и часто; о свадьбе же не говорили.

— Прошу покорно верить вестям; намедни Андрей Андреич уверял достоверно, что и девичник справили.

— Чей же это?

— Пелагеи Власьевны, а знаете ли с кем?

— Понятия то есть не имею...

— Побожитесь!

— Честью уверяю.

— Экой же он вральман, этот старый! как же таки так врать! и вы не сватались даже, Петр Авдеич? — спросил радостно смотритель.

— Я?

— Вы!

— Рехнулся, видно, ваш Андрей Андреич?

— Неужто и в помышлениях у вас не было?

— В помышлениях, правду сказать, не то чтобы не было, да подумал хорошенько...

— Что же, что же?

— То, что, как подумал, знаете, хорошенько, и раздумал.

— Ей-богу?

— Ей-богу, — повторил штаб-ротмистр.

— И так-таки совсем себе раздумали? — спросил Дмитрий Лукьянович, не смея верить благополучию своему.

— Совершенно то есть раздумал, и сами рассудите, какая статья? В женитьбе не полагаю счастья без достатка; на Лизавету Парфеньевну надежда плоха, и свистать придется.

— Истинно свистать пришлось бы, Петр Авдеич.

— Этого, доложу вам, я и боялся.

— Ай да Андрей Андреич, ай да правдивый человек! Вот как посмеюсь над ним, попадись только на глаза, — повторил штатный смотритель, которому эта весть возвратила все утраченные им надежды.

Убедясь, что штаб-ротмистр не соперник ему, Дмитрий Лукьянович расцеловал бы его с горячностью, но ему казалось это неловко; кто мог знать, не вздумалось бы костюковскому помещику одуматься; тогда, раз изменив себе, смотритель не в состоянии бы был поправить дела.

Привезенный Тимошкою учитель французского языка оказался не иностранцем, а

просто картавым малым, лет тридцати пяти, с рыжими волосами и с веснушками на лбу и носу; сюртук учителя, застегнутый на все пуговицы, то есть на одну среднюю, свидетельствовал о совершенном отсутствии не помочей, но жилета; исподнее платье преподавателя и обувь, одинаково лоснившиеся, соответствовали сюртуку и представляли обладателя их чем-то очень похожим на грязного лакея.

Предложение штаб-ротмистра: учить французскому наречию одного, как говорил Петр Авдеевич, из его родственников — принято было рыжим господином только что не со слезами благодарности; он передал ему, картавя, все подробности своей системы, взялся за пять рублей ассигнациями[120] снабдить нового ученика всеми потребными книгами и готов был присягнуть, что ученик меньше чем в два месяца так же хорошо будет знать по-французски, как он сам.

— Сами же вы где научились? — спросил у него штаб-ротмистр.

— Я-с? в газных местах, — отвечал господин, — и выговор от пгигоды поючий погадоч-

ный.

Решено было, что учитель отправится с Петром Авдеевичем в деревню на все святки, а по прошествии их, каждую среду будет за рыжим господином приезжать лошадь и отвозить его в город в воскресенье. В плате за уроки уговориться было не трудно штаб-ротмистру; преподаватель согласился получать и деньгами, и провизиею, и даже дровами.

В Костюкове только сознался учителю своему Петр Авдеевич, что учеником французского языка будет он сам, а что не хотел он сказать этого при Дмитрие Лукьяновиче, потому что Дмитрий Лукьянович большой болтун и стал бы звонить о том по всему городу.

Первый приступ показался Петру Авдеевичу не то чтобы трудным; азбука походила на русскую и склады тоже немного; но чем далее погружался он в науку, тем дело казалось ему замысловатее, и, не поддержи его мысль, что в скором времени он в состоянии будет заговорить с графинею по-французски, быть бы рыжему господину без ко-стюковской провизии и без дров.

А между тем и Горностая привел чернобо-

родый графский наездник в Костюково, с запискою от ее сиятельства, в которой ее сиятельство пеняла Петру Авдеевичу за скорый отъезд и приглашала посещать ее чаще, прибавляя, что ей одной очень скучно в Графском. Записку эту перечитывал штаб-ротмистр по двадцати раз на день, отчего и потемнела она значительно.

— Уж не скатать ли нам в Графское? — спрашивал частенько у Тимошки костюковский помещик.

— Скатать можно, барин, — отвечал обыкновенно Тимошка.

Наступил канун нового года, и Тимошке отдан был решительный приказ изготовить тройку к послеобеду.

Было восемь часов вечера, когда в гостиную графини вошел раскрасневшийся от стужи костюковский помещик. Завидев его, графиня вскрикнула и, в испуге, чуть не упала с кресла.

— Не бойтесь, ваше сиятельство, — воскликнул Петр Авдеевич смеясь, — я явился к вам с подарком на новый год, да только не с живым, а с мертвым. — Говоря это, Петр Авде-

евич снял с плеч своих пребольшого и прежирного волка.

— Что это за чудовище? — спросила графиня с любопытством и боязнию. — Где вы его достали?

— Только что не на дворе вашем, ваше сиятельство; вышел день такой: не ленись я стрелять, волка бы четыре привез вам.

— Так это волк?

— Он самый, ваше сиятельство, и матерый; подержись стужа, скоро за ними проезда не будет; представьте себе: что лощина, то волк, а смелы, как варвары! бегут себе пред коренной, горюшка мало, будь только поросенок...

— Зачем же поросенок?

— Ах, ваше сиятельство, это любезное дело, с поросенком, в особенности в эту пору; они, доложу вам, то есть волки, бегаются теперь, так, попади только в волчиху, всю стаю перекатаешь чисто; уйдет разве шальной какой. Конечно, будь ружье надежное.

— Ружье? — возразила графиня. — Ружья должны быть здесь в доме; точно, мне говорили о каком-то арсенале.

Графиня позвонила и приказала вошедшему слуге спросить управителя, где хранятся оружия, о которых она как-то и от кого-то слышала.

Слуга доложил графине, что есть во флигеле целая комната, наполненная всякого рода оружием.

— Хотите посмотреть и выбрать для себя, что вам понравится? — сказала Наталья Александровна штаб-ротмистру. — А ежели найдется довольно хорошее, — прибавила графиня, — то мы можем сегодня же испытать его.

— Как, ваше сиятельство, вы бы решились ехать на волков? — воскликнул изумленный штаб-ротмистр.

— Решаюсь с большим удовольствием, Петр Авдеевич, только не иначе как с вами.

— И, ваше сиятельство, не боитесь?

— Повторяю вам, что не боюсь ничего; в деревне надобно пользоваться всеми удовольствиями, а ежели к удовольствию присоединяется опасность, тем лучше; мы испытаем ее.

— А едем, так едем, ваше сиятельство; опасность будет или нет, а волки будут, и не

будь я Петр Авдеевич, ежели не привезем их полости[121] на две.

Штаб-ротмистр взвалил себе снова на плеча принесенного волка и, оставив его в прихожей, отправился во флигель выбирать ружье; мимоходом он отдал приказ людям приготовить розвальни, тройку смирных лошадей, поросенка и кулек с длиною веревкою.

В графском арсенале нашел штаб-ротмистр не только множество ружей всех наций мира, но и большое количество холодного оружия, как-то: турецкие ятаганы, персидские и черкесские шашки, дамасские кинжалы всех возможных форм и величин. Глаза Петра Авдеевича разбежались при виде богатства, рассыпанного по рукояткам и эфесам восточного оружия; перетрогав каждую вещь порознь, он обратил главное внимание на ружья; некоторые из них показались Петру Авдеевичу ненадежными: ружья эти были легки и вовсе без украшений; может быть, знак предпочел бы именно эти всем прочим, но штаб-ротмистр выбрал одно повальяжнее; на стволах его искусною рукою вычеканены были олени с рогами, птицы, похожие на бе-

касов, легавые собаки на стойке, и, наконец, изображалось ветвистыми буквами имя привилегированного мастера Курбатова; с ним-то и возвратился штаб-ротмистр в гостиную. После чаю m-r Clément пришел доложить ее сиятельству, что сани у подъезда.

— Ваше сиятельство, не раздумали? — спросил штаб-ротмистр.

— Напротив, — отвечала графиня, — чем темнее делается ночь, тем страшнее подумать о волках, и потому тем с большим удовольствием я еду.

— Но извольте одеться потеплее.

— Я холода не боюсь.

— Однако, ваше сиятельство, хотя ветру и нет большого, а морозит на порядках[122].

— Едем, — сказала графиня, вставая.

Француз подал ей горностаевую шубку, соболий капюшон, муфту, портсигар, меховые башмаки и шубу. Прежде чем успел Петр Авдеевич зарядить два ружья, Наталья Александровна сидела уже в розвальнях, запряженных тройкою. Пересадив Наталью Александровну спиною к кучеру, штаб-ротмистр спросил ее, не угодно ли ей взять кого-нибудь

с собою, но, получив ответ: «Зачем?», приказал кучеру трогать.

— Ба, да это ты, Тимошка? — воскликнул Петр Авдеевич, узнав в кучере своего верного служителя.

— Небось, барин, поверил бы я барыню-то кому другому? — отвечал Тимошка, снимая шапку. — На грех мастера нет; нападет зверь, так как бы иногда не струсил другой, да не наделал беды.

— А ты не боишься ничего? — спросила не совершенно твердо графиня, которую замечание Тимошки обдало холодом.

— Бог милует, матушка графиня, авось справимся, и вашу милость не выдадим; будь мы вдвоем с барином, и не подумал бы, кажется, а...

— Если бы не подумал с барином, так не думай и со мной, мой друг, — отвечала графиня. — Петр Авдеевич, — прибавила она, — поедемте в самое дикое место.

— Вы, ваше сиятельство, не извольте только говорить громко. Зверь хитер, услышит, пожалуй, не пойдет, — отвечал штаб-ротмистр, понизив голос, — а ты, Тимошка, при-

бавь ходу, да, объехав ляда[123], что у речки, спустись в низину да держись левой стороны; тут самый переход и есть.

— Знаем-с, — отвечал Тимошка, стегнув лошадей.

Ночь была темна, луна скрылась и, сливаясь с небом, представляла взорам ехавших одну темную, непроницаемую полосу. Лошади бежали рысью, усадьба осталась позади; снег скрипел под санями, и лишь изредка встречалась им то черная, неподвижная сосна, то одинокий пенёк, то темною грядой на белом поле стоял безлиственный ряд кустов.

Глубокое молчание, царствовавшее как в природе, так равно и в розвальнях, привело графиню в невольный трепет, но, вспомнив о Петербурге и дрожа всем телом, она улыбалась при мысли о том, что сказали бы обожатели ее и чопорные дамы, если бы волшебный лорнет мог указать им, что она сидит в крестьянских дровнях, в обществе Петра Авдеевича и кучера его Тимошки, в глухую декабрьскую ночь, среди пустых полей и лесов, наполненных волками, сколько эпиграмм внушила бы она столичным поэтам, сколько

злых улыбок вызвала бы она на уста светских женщин, и в то же время как бы позавидовали ей те же самые женщины и Петру Авдеевичу те же самые поэты!

— Теперь ступай тише, Тимошка, — проговорил штаб-ротмистр, выкидывая из саней привязанный на длинной бечевке кулек, набитый сеном.

— На что это? — тихо спросила графиня.

— Это, ваше сиятельство, для того, чтобы приманить зверя, — отвечал так же тихо Петр Авдеевич. — Услышав крик поросенка, которого я стану потискивать, волки бросятся за нами вслед и, увидя куль, сдуру примут его за самого поросенка.

— Но вы не сделаете ему вреда?

— Кому это? поросенку?

— Да!

— О нет, ваше сиятельство, ведь я только легонько пожму ему ногу; пусть себе похрамает день-другой, и жив останется, ручаюсь вам; вот извольте замечать теперь по правой стороне, а я буду смотреть налево; место надежное, вот и тропы пошли в гору; если же, ваше сиятельство, увидите огоньки или само-

го волка, то извольте только легонько толкнуть меня, но ни слова!

— Боже мой, как это весело! — прошептала графиня голосом, дрожавшим от страха.

— Еще как весело будет, погодите, ваше сиятельство, — прибавил едва слышно штаб-ротмистр.

Сани в это время поравнялись с мельницею; оставив ее вправо, они стали спускаться в низину, пролежавшую между молодым и частым сосняком. Лошади шли шагом; поросенок, пожимаемый ногами Петра Авдеевича, изредка оглашал окрестность пронзительным, жалобным криком своим, а куль, следовавший за санями на расстоянии двадцати шагов, прыгал во все стороны и, цепляясь иногда за отдельно стоявшие кустики, делал большие скачки.

— Уж не холодно ли вам, ваше сиятельство? — спросил штаб-ротмистр, нагнувшись к графине. — Вы, мне кажется, извольте дрожать.

— Нет, но мне страшно немножко, Петр Авдеевич, — отвечала графиня, — и ежели бы вы позволили прислониться к вам, то, мне ка-

жется, я бы меньше боялась.

— С великим удовольствием, Наталья Александровна, извольте сесть, как вам только угодно будет.

Штаб-ротмистр помог графине податься несколько назад, а сам поместился к ней так близко, что левый бок его сделался ее опорой.

То, что чувствовал Петр Авдеевич от легкого прикосновения ее сиятельства, превосходило всякое блаженство; он согласился бы не переменять положения во всю жизнь.

— Теперь ловко вам, ваше сиятельство? — спросил он, и слово «очень» произнеслось устами графини над самым его ухом. Петр Авдеевич забыл про волков, про Пелагею Владьевну, про ружье свое, даже про поросенка, который, пользуясь рассеянностью штаб-ротмистра, прервал дикую свою песню и, притаившись в мешке, стал изредка похрюкивать. Но вдруг в темном углу сосняка мелькнуло несколько двойных фосфорических огоньков; их не заметил бы Петр Авдеевич, не заметила бы графиня, наблюдавшая за противоположною стороною, но заметил их кучер Тимошка; подобрав вожжи, он концом кнута своего ле-

гонько дотронулся до барина.

Штаб-ротмистр вздрогнул.

— Берегите слева, — шепнул ему Тимошка.

Забыв на этот раз самую графиню, Петр Авдеевич дакнул ногою поросенка и, схватясь за ружье, согнулся так низко, что голова его коснулась колен.

Едва крик животного раздался из мешка, как три волка одним прыжком очутились шагах в двадцати от куля.

— Вот они, вот они! — радостно крикнула графиня.

— Тише, ваше сиятельство!

— Ах, виновата, совсем забыла, но что же вы не стреляете, Петр Авдеевич? вот видите ли, они уходят... ах, как досадно!..

Волки действительно скрылись в опушку; подняв голову, штаб-ротмистр, не без досады, сделал графине строжайший выговор и заключил его тем, что ежели ее сиятельство и впредь станет кричать так громко, то лучше воротиться домой, а таким образом охотиться нельзя ни под каким видом.

Чувствуя себя виноватой, Наталья Александровна каялась от всей души и, взяв Петра

Авдеевича обеими ручками своими за руку, так мило испрашивала у него прощения, что Петр Авдеевич наконец великодушно простил Наталью Александровну, и охота началась снова.

Не знаю, одарены ли волки способностью сообщать друг другу грозящие опасности, но на расстоянии десяти следующих верст, хотя голос поросенка и не умолкал ни на минуту, хотя фосфорические огоньки и светились порою в чаще опушек, но ни один зверь не выбегал на дорогу и не приближался к саням.

Ножки графини озябли до того наконец, что она принуждена была сознаться в том Петру Авдеевичу, который, без церемонии, отыскал их в складках шубы ее сиятельства и, переложив к себе под шинель, стал тереть так усердно, что не прошло и получаса, как ножки свои заменила графиня ручками, и ручки оттер Петр Авдеевич.

За час до рассвета возвратились с неудачной охоты и хозяйка, и гости села Графского, промерзшие до костей.

Штаб-ротмистр хотя и говорил нескладно, но не променял бы ночь эту ни на какие дру-

гие.

Графиня, отогревшись у камина, начала смеяться и во время ужина, поднося Петру Авдеевичу бокал с шампанским, поздравила его с наступившим новым годом и объявила решительно, что намерена ездить за волками каждую ночь.

Слушая и смотря на ее сиятельство, за неимением поэтов и чопорных столичных дам, улыбался, и даже зло улыбался, один monsieur Clément, бывший камердинер покойного графа; но что думал он в это время, то знал один он.

Петр Авдеевич, войдя в свою комнату, погасил свечу, которая была не нужна, потому что на дворе стало светло.

День нового года, значительно сокращенный долгим сном, показался, однако же, графине порядочно скучным. Петр Авдеевич, незаменимый во время катаний и волчьих охот, не имел в особе своей ничего такого, что заставило бы Наталью Александровну позабыть петербургские causeries[124]. Впрочем, с гостем своим не церемонилась графиня; признавая в нем доброго и не бессмысленного че-

ловека, она была уверена, что благосклонность ее к нему не возбудит в Петре Авдеевиче никакого дерзновенного чувства; дерзновенным назвала бы графиня всякое сердечное чувство ничтожного помещика к ее сиятельству. Самая мысль о возможности быть любимой штаб-ротмистром не приходила на ум графине; нужно же было что-нибудь делать в селе Графском; сидеть одной? — тоска; читать? — на чтение употребляла Наталья Александровна по два часа в день. Завести круг знакомства? — в уезде с кем, например? С Кочкиными? с городничим, с штатным смотрителем? Такая идея и не могла коснуться ума графини, а следовательно, и Петр Авдеевич, так нечаянно ниспосланный судьбою, был истинный клад для села Графского; он же, сверх бескорыстия и доброты, обладал редким в уездах качеством: был человеком без всяких претензий. Скажи ему графиня: «Петр Авдеевич, вы сегодня мне надоели, подите спать, но с завтрашнего числа не ложитесь целую неделю», и Петр Авдеевич почел бы себе за счастье выполнить волю ее сиятельства, потому что, с первого взгляда на ее

сиятельство, он перестал думать о себе, о Пелагее Власьевне, о Костюкове, короче, обо всем, кроме графини Натальи Александровны, и когда на новый год графиня сказала ему: «Сосед, надеюсь, что вы ближе недели не уедете от меня?» — штаб-ротмистр пробыл ровно неделю в селе Графском и, уезжая из него, проклинал и Костюково, и самого себя. По несчастью, костюковский помещик не догадался ни разу спросить себя: «Что ты именно чувствуешь к графине? простое расположение, дружбу ли, наконец уже не то ли, что называют любовью? а ежели чувство твое к ней да последнее, к чему поведет оно тебя? какие надежды питаешь ты, добрый, честный, но не полированный помещик ста двадцати душ, любя ее сиятельство? или ты веришь сочетанию богинь с пастухами? Нет, почтеннейший Петр Авдеевич, — сказал бы он сам себе, — ты возвратись в Костюково и начни снова ездить к Кочкиным, потому что Пелагея Власьевна любит тебя от всего сердца, а ее сиятельство даже не делает тебе чести включать особу твою в тот разряд людей, которых в ее кругу называют противополож-

ным ей полом, то есть мужчинами». Но не того мнения был уезд и даже городничий.

Тихон Парфеньевич родился в ту эпоху, где женщины с десятью тысячами душ предпочитали нередко здоровых мужей всему прочему, и, по его соображениям, милости графини, о которой, впрочем, он не имел никакого понятия, не могли не иметь оснований положительных. В этом предположении утвердили Тихона Парфеньевича: во-первых, частые поездки штаб-ротмистра в село Графское; во-вторых, жеребец Горностаи; в-третьих, ночные катанья en tête-a-tête[125] с Петром Авдеевичем и, в-четвертых, новая, неслыханная милость графини к счастливцу, костюковскому помещику. Последнее обстоятельство обнаружилось следующим образом.

Однажды (это было в конце января), вызванный снова графинею, штаб-ротмистр объявил ей, между прочим, в виде любезности, что Костюково так кажется ему и скучным и грязным после села Графского, что при одной мысли зажить в нем безвыездно по-прежнему он чувствует то есть просто тошноту.

Слушая Петра Авдеевича, Наталья Александровна невольно вспомнила о костюковской гостиной, о зале, о мебели, о кривых полах, о той гримаске, которую сделала она невольно при виде костюковской парадной половины, и, завязав украдкой на платке своем узелок, переменяла разговор и предупредила штаб-ротмистра, что на этот раз не отпустит его домой ближе двух недель. Когда же после первого обеда Петр Авдеевич, по обыкновению своему, отправился всхрапнуть, графиня потребовала к себе управляющего. Федор Иванович не замедлил явиться.

— Скажите мне, пожалуйста, господин Готфрид, — сказала Наталья Александровна, — присланы ли были к вам из Петербурга обои для того домика, что в парке?

— Как же, ваше сиятельство, я получил их два года тому назад, вместе с мебелью и прочими вещами, — отвечал управляющий.

— И мебель есть? как я рада!

— Прислана была и материя для обивки, ваше сиятельство.

— Бесподобно, а где же это все?

— Сохраняется в теплых кладовых, ваше

сиятельство.

— Могу я видеть?

— Когда приказать изволите?...

— Сию минуту, господин Готфрид, — отвечала графиня.

В тот же вечер перенесены были из кладовых в домик парка: часть привезенной из Петербурга мебели, ящик с обоями, кипа ковров и много других предметов, тщательно уложенных в ящики и зашитых клеенкою.

В ту же ночь к противоположной стороне парка подъехало несколько крестьянских саней в одиночку и несколько пошевней, запряженных тройками. В первые уложили мебель и прочие вещи, на вторые поместились разного рода мастеровые, а к свету и след их замело снегом.

В последующие дни графиня была весела как дитя; Петр Авдеевич превзошел себя в изобретении новых удовольствий; он устроил в саду ледяную гору, на пруду рысистый бег и скачку тройками, в поле охоту на куропаток, и только в комнатах, по вечерам, оказывалось воображение его совершенно бесплодным; зато в это время приходила к нему на

помощь графиня, которая то учила штаб-ротмистра петь русские романсы, то играла с ним в дураки, короче, делала в свою очередь все, чтобы сократить гостю самую скучную для него часть дня.

Промчались и эти две недели восхитительно для штаб-ротмистра и не совсем скучно для графини; наступил вечер отъезда костюковского помещика; он с стесненным сердцем воссел на сани свои и пасмурный, как темная ночь, помчался в Костюково, Колодезь тож.

Много названий дают люди сердечным чувствам нашим, но к настоящему чувству, господствовавшему в сердце Петра Авдеевича, не подошло бы ни одно из этих названий; преданность его к Наталье Александровне выросла так высоко, что в разлуке с графиней он не считал себя более в живых; вся прошедшая жизнь его как бы не существовала: штаб-ротмистр не возвращался мысленно назад; настоящее употреблял он в селе Графском на изобретение забав для графини, а о будущем и думать не смел; оставались для него промежутки, или те дни, те мучительные дни, которые принадлежали Костюкову,

промежутки эти, все— таки ради графини, посвящал Петр Авдеевич на искажение французского наречия, на наполнение собственной памяти такими словами, которые мог понимать разве один он да рыжий господин, его учитель, и то потому только, что не произносил четвертой части букв.

«Что бы стоило, кажется, Костюкову стогреть дотла, — Думал сам про себя штаб-ротмистр, подъезжая к усадьбе своей, — тогда я мог бы, придравшись к этому, погостить подалее у графини».

Но бедный костюковский домик не только не разделял желаний своего обладателя, а блеснул издали, словно цветной фонарик.

— Барин, а барин! — произнес наконец молчавший во всю дорогу Тимошка, — мне мерещится, что в доме-то нашем неладно.

— А что ты видишь?

— Больно светло в нем, поглядите-ка, на окнах какой свет; кому бы, кажется, тешиться без нас?

— Не поджег ли чего спяна Ульяшка? — заметил хладнокровно Петр Авдеевич.

— Нет, барин, на пожар не походит; под-

жег бы Уляшка, гореть бы дому одним огнем, а то, извольте сами взглянуть: в одних окнах синее пламя, в других алое, чудно что-то! Уж не чертовщина ли какая? с нами крестная сила!

— Кой прах, ведь точно синеется что-то в зале, — проговорил штаб-ротмистр, пристально всматриваясь в окна своего домика, — пошел же поскорее! доедем, увидим.

Тут пробежавшая роца скрыла на время и усадьбу Костюкова, а чрез минуту страх Тимошки превратился в удивление, а недоразумение господина его в какое-то не изъяснимое чувство, отчасти восторженное, а отчасти грустное.

Бедное жилище покойного Авдея Петровича преобразовалось, как бы волшебством, в прекрасное, даже роскошное жилище холостого человека; недавно черноватые стены, испещренные щелями, покрылись разноцветными бумажками; место кривых стульев и треногих диванов заменила покойная, мягкая мебель; стены увесились картинами, изображавшими всевозможные охоты, а в кабинете своем нашел Петр Авдеевич часть графского

арсенала; зажженные карсели[126] разливали в комнатах тот яркий свет, который принят был Петром Авдеевичем за пожар, причиненный пьяным Уляшкою, а Тимошкой за чертовщину.

Остановись у порога залы, Петр Авдеевич взглянул на происшедшие в домике его чудеса и вздохнул глубоко. Потом, пройдя медленными шагами весь не длинный ряд своих комнат, он в кабинете увидел знакомое оружие и, вздохнув вторично, сел в кресла; в это время следовавший за ним Кондратий Егоров подал ему письмо. Петр Авдеевич, все-таки молча, распечатал пакет и прочел следующие строки:

«Ежели каприз мой приведет соседа и друга моего в негодование, то требую, чтобы он немедленно явился ко мне для объяснения.

Наталья Белорецкая».

Штаб-ротмистр поцеловал украдкою записку графини, положил ее в карман, и, найдя в кабинете своем все нужное для письма, принялся отвечать; ответ Петра Авдеевича был и короток, и далеко не замысловат: написал он его без предварительных соображе-

ний; вот он:

«Ваше сиятельство!

На капризы негодовать долго нельзя: они скоро проходят; но то, что чувствую я, отвечаю вам, едва ли пройдет когда-нибудь».

Этот ответ повез в село Графское кучер Тимошка; а привез он штаб-ротмистру приказ ее сиятельства не забывать ее надолго.

Оставим на время и село Графское, и Костюково, и графиню с Петром Авдеевичем, а заглянем в давно забытое нами и Петром Авдеевичем село Сорочки. Городничий несколько раз с нежностью поцеловал племянницу свою в лоб, приговаривая: «Что же ты будешь делать, что же ты будешь делать?», а племянница в это время, закрыв лицо свое руками, всхлипывала, и слезы ее десятью ручьями лились на пол.

Героиня рассказа нашего, Пелагея Власьева Кочкина, употребила первое время одиночества своего на ежеминутное ожидание штаб-ротмистра. Более чем уверенная в неизменности чувств к ней любимого ею человека, она сначала приписывала долгую отлучку его нездоровью, делам и тысяче других при-

чин, из которых, как это случается всегда, ни одна не подходила к истинной.

Пелагея Власьевна, несмотря на стужу, надевала попеременно то розовое, то кисейное, то вердепешевое платье и ежедневно, в легком шерстяном манто, выходила на большой проселок, прислушиваясь к малейшему шороху, улыбалась всякой проезжавшей тройке, но тройка эта, обыкновенно, не свертывала на сторону, а продолжала преспокойно путь свой и везла незнакомые лица.

«Он, верно, будет к рождественскому сочельнику», — думала Пелагея Власьевна, но сочельник прошел, а Петра Авдеевича не было. Елисавета Парфеньевна посоветовала дочери своей погадать для забавы, и, вылив растопленное олово в стакан, наполненный снегом, и мать и дочь с неизъяснимым беспокойством стали рассматривать на тени, какую судьбу предрекает им фантастически вылившийся металл. Но узорчатый результат гаданья бросал на стену то профиль развесистого куста, то очерк Пиренейского полуострова, но ничего похожего на скорый брак Пелагеи Власьевны с Петром Авдеевичем не рисова-

лось на грубо обтесанных бревнах простенка. «К новому году он будет непременно», — повторяла довольно часто Елисавета Парфеньевна, которая, впрочем, повторяла это более для утешения дочери, чем вследствие собственного убеждения.

Наступил и новый год; явился в Сорочки с поздравлением, но все-таки не Петр Авдеевич, а Дмитрий Лукьянович, ненавистный сердцу Пелагеи Власьевны. После обычных приветствий, он как будто удивился, что дамы встречают новый год в таком одиночестве.

— Кому же быть у нас в этот день? — заметила вдова. — Чай, всякий проводит праздник этот у себя.

— Справедливо, Лизавета Парфеновна, — отвечал смотритель, — о женатых и семейных людях я не говорю, но нашему брату, одинокому...

— Вы и посетили нас, Дмитрий Лукьянович, спасибо вам.

— Я — да; но почему же бы и соседям вашим, хотя бы Петру Авдеевичу например?

— Он, верно, болен, — заметила Пелагея

Власьевна, покраснев.

— Он? не полагаю.

— Что же с ним?

— С ним? — повторил смотритель, покачиваясь на своем стуле. — С ним, Пелагея Власьевна, произошли, говорят, большие перемены.

— Перемены?

— Да-с, штаб-ротмистр наш предался изучению иностранных языков.

— Вы шутите, Дмитрий Лукьяныч? — спросила с недоверчивостию вдова.

— Немало-с, божусь! Очень недавно Петр Авдеич, лично, сам, приезжал посоветоваться ко мне, к какому способу прибегнуть для скорейшего достижения полного познания французского наречия, и, по моему же совету, приговорил насчет уроков одного из учителей подвластного мне заведения.

— Но это чудеса, но это непостижимо, Дмитрий Лукьяныч! начинать учиться в эти годы, и на что? и зачем? и для кого?

— Мы и сами ничего не понимаем, Лизавета Парфеновна; конечно, носятся разные слухи...

— О Петре Авдеиче?

— Именно-с, о нем; но слухам городским верить не должно.

— А какие слухи? — спросила вдова с увеличивающимся беспокойством.

— Толкуют, — продолжал смотритель, — что штаб-ротмистр сошелся вновь с одной из давнишних знакомок своих, так по-русски-то не очень разговориться при свидетелях о вещах, собственно до их личности касающихся; по этой причине...

— Позвольте вам сказать; Дмитрий Лукьяныч, — перебила Елисавета Парфеньевна, — что это подлинно городские толки, попросту сплетни. Какая знакомая? и может ли быть, чтобы не знал никто о приезде в уезд нового лица?

— Неужели же вы, Лизавета Парфеновна, не слыхали о приезде графини Белорецкой?

— Уж не графиня ли по-вашему, старая знакомка Петра Авдеича? — спросила вдова насмешливо.

— Так говорят!

— Сплетни, Дмитрий Лукьяныч, чистые сплетни.

— Не знаю-с.

— Я вам говорю, что сплетни!

— Ничего не знаю-с.

— Статочное ли дело, чтобы: знатная графиня Белорецкая унизила себя до такого анекдота? Присягните; никто не поверит.

— Так по какому же случаю живет у нее безвыездно сосед ваш, Лизавета Парфеновна?

— И это выдумка.

— Нет, уж извините, это не выдумка, а правда.

— Вздор, Дмитрий Лукьяныч, вздор.

— Истина, неопровержимая истина, Лизавета Парфеновна; сам братец ваш подтвердит, что графиня из Петербурга сделала бог знает какой круг, чтобы скорее повидаться с штаб-ротмистром, с которым: знакома была еще до замужества своего; а теперь овдовела, никто не мешает, она и шнырь в Костюково, и ночевала там, вот что, Лизавета Парфеновна, а говорить можно: «вздор»; говорить что хочешь можно.

Слушая внимательно штатного смотрителя, вдова покойного судьи и не заметила, что Пелагея Власьева чуть усидела на кресле,

что свеженькое личико бедной девушки покрылось смертной бледностью, а на глазах выступили две крупные слезы, которых не смела вытереть Пелагея Власьевна; улуча удобную минуту, она поспешно встала и вышла, шатаясь, как в угаре.

Если бы в уме племянницы городничего и затаилось хотя малейшее сомнение насчет истины сказанного Дмитрием Лукьяновичем, то сомнение это не долго могло служить ей утешением. На следующий день прибыл в Сорочки Тихон Парфеньевич; достаточно было взглянуть на суровое лицо его, чтобы убедиться в истине слов штатного смотрителя. Городничий без околичностей повторил все слышанное о штаб-ротмистре и прибавил, что Петр Авдеевич и знать их больше не хочет и что ему теперь в каких-нибудь нищих, когда богатая графиня сходит по нем с ума? Да на все приданое Полинки не купишь половины такого жеребца, какого подарила ее сиятельство Петру Авдеевичу; то ли еще будет, когда окончится годовой траур! И по совести не понимал Тихон Парфеньевич, почему бы Петру Авдеевичу не сделаться мужем

графини и чем он ей не пара? Ростом и пригожеством штаб-ротмистр молодец; фамилия Мюнабы-Полевелова старинная; не богат Петр Авдеевич, зато у графини десять тысяч душ, будет с обоих; за чинами же дело не станет, коли пойдет служить, и сенатором будет. «А ты, милая, — прибавил Тихон Парфеньевич, обратившись к племяннице, — не рюми [127]; слезами графинею не сделаешься; да выбей-ка себе из головы всякие аллегии; жених Петр Авдеевич не последний на свете, пошлет бог судьбу, будешь счастлива и за другими! Бог сирот не оставляет».

В тот самый час, когда ее сиятельство графиня Наталья Александровна садилась в сани с Петром Авдеевичем у крыльца замка своего и отправлялась в первый раз на волчью охоту, Пелагея Власьевна Кочкина подошла, рыдая, к ручке матери своей, поздравляя ее с наступившим новым годом; а в ту минуту, когда, на другой день, Пелагея Власьевна, выслушав рассказ дяди своего о вероломстве жениха, силилась руками удержать слезы, глаза жениха ее были сомкнуты сладчайшим сном, рисовавшим штаб-ротмистру и волков, и ар-

сенал графини, и самую графиню, во всевозможных образах. Много и многое передумал герой наш во время пути своего; он не заметил ни поворота к селу Сорочкам, ни двух женщин, стоявших неподвижно у самого поворота, ни даже того, что одна из этих женщин была Пелагея Власьева, бледная и исхудалая. Не уезжай графиня в полдень, штаб-ротмистр проехал бы Сорочки, по обыкновению своему, вечером, и женщины, стоявшие у поворота, не стояли бы там, потому что Пелагея Власьева не выходила из дому позже сумерек.

Вскоре в уезде к слышанным нами вестям не замедлила присоединиться и весть о преобразовании костюковской гнилушки (так называл городничий дом Петра Авдеевича) в богатый чертог.

При первом свидании с графинею по возвращении костюковского домика, штаб-ротмистр попытался было начать благодарственную речь, но беленькая ручка графини преградило зажала ему рот и премило заставила молчать.

— Вы знаете, неисправимый ворчун, что

хорошеньким женщинам позволяется и прощается все на свете, — сказала графиня. — И кто вам говорит, что фантазии мои относятся к вашему лицу? Нимало; я вспомнила о Костюкове вашем, вовсе не думая о вас, и мне пришло в голову, что, может быть, мне случится еще раз сбиться с дороги и провести в нем целую ночь, а как домик по небрежности хозяина был в большом беспорядке, вы в этом согласитесь со мною, то и приказала я сделать из него, что можно.

— Ежели так, ваше сиятельство, то с этого времени костюковский домик принадлежит вам и я останусь в нем сторожем, — отвечал штаб-ротмистр.

— Согласна, Петр Авдеевич.

— Этого мало, ваше сиятельство, я переберусь во флигель, чтобы присутствием моим не водворить того беспорядка, который нашли вы в моем жилище.

— Как хотите, сосед; но полно говорить о Костюкове, а скажите мне лучше, что располагаете вы делать с собою?...

— Когда, ваше сиятельство?

— Всегда; я говорю про ваши планы, про

будущность вашу?

— А что же делать прикажете? пока ваше сиятельство здесь, я буду жить, как только можно долее, при вас; а уедете вы, мне тогда не все ли равно, что бы со мною ни случилось?...

— Все это очень любезно, сосед, — заметила, смеясь, графиня, — но я серьезно желала бы знать, к какой цели приготовляете вы себя, и неужели в ваши годы человек может обречь свою особу на вечное заточение в глуши, подобной Костюкову?...

— Повторяю, ваше сиятельство, что никаких планов то есть не делаю и делать не смею; и может ли наш брат надеяться на что-нибудь или на кого-нибудь?

— Прекрасно, Петр Авдеевич, и очень приятно слышать подобный отзыв о друзьях ваших, на которых, как вы говорите, надеяться нельзя...

— Но неужели вы, ваше сиятельство, думаете, что я довольно глуп, чтобы сметь считать вас моим другом?

— Опять, сосед!

— Повторю тысячу раз!

— А я повторяю во второй, что запрещаю вам включать меня в число прочих, и прошу знать, что ежели кто-нибудь имел случай мне понравиться, то для того истинному участию моему нет границ; слышите ли, несносный человек?

— Слушаю и не перестал бы слушать, ваше сиятельство.

— Тем лучше, потому что мне остается сказать вам многое, и, чтобы не позабыть, я выскажу это все сейчас; во-первых, сосед, — продолжала графиня, — вы еще молоды, не дурны собою...

— Ваше сиятельство?

— Молчите и не прерывайте меня, иначе рассержусь пресерьезно.

— Слушаю-с!

— Повторяю, что вы очень не дурны собою, — сказала графиня, — умны и благородны, а что всего важнее, добры чрезвычайно и можете всякую женщину сделать счастливою. Положим, Петр Авдеевич, что состояние ваше может служить препятствием к женитьбе по любви на бедной девушке; но любовь проходит, и продолжительная дружба, верь-

те мне, прочнее в супружестве всех прочих чувств. Который вам год, сосед?...

— Мне, ваше сиятельство? В день святого архистратига Михаила[128] минет двадцать девять...

— Двадцать девять, только?... — повторила графиня. — Ну, а скажите откровенно, Петр Авдеевич, стара ли бы я была для вас?... мне двадцать четыре...

— То есть как это для меня?... — спросил с недоумением штаб-ротмистр.

— Согласились ли бы вы иметь женою свою женщину подобную мне, точно таких лет и не бедную, разумеется?

Вместо ответа Петр Авдеевич потер себе лоб.

— Что вы не отвечаете, сосед?

Петр Авдеевич опустил руку, поднял другую, потер себе лоб снова, не переставая смотреть на графиню самыми странными глазами.

— Понимаю. Невеста двадцати четырех лет стара для вас, — заметила Наталья Александровна, улыбаясь.

— Вы были так долго добры ко мне, — про-

говорил наконец протяжно костюковский помещик, — а теперь опять начинаете смеяться надо мною; за что же бы, ваше сиятельство?...

— Отчего вы думаете, что я смеюсь над вами?

— Бог вас накажет, — прибавил штаб-ротмистр с глубоким вздохом.

— Вы с ума сошли, сосед. Что с вами делается? — воскликнула графиня с нетерпением.

— Дивлюсь, что не совсем сошел еще, потому что вы, ваше сиятельство, кажется, этого желаете; для чего бы говорить... вам мне... про... такие вещи несбыточные...

— Я говорю, что чувствую и в чем убеждена.

— То, что чувствуете вы?...

— Клянусь вам, мой добрый сосед.

— И все это не шутка, не насмешка?

— А так не шутка и не насмешка, что ежели вы согласитесь выполнить совет мой, то за ваше будущее счастье ручаюсь вам я!..

— Какою же ценой может купить ничтожный сосед вашего сиятельства то счастье, которое предлагаете вы ему так великодушно? — сказал несчастный штаб-ротмистр, бро-

саясь на колени.

— Что вы, что вы?... встаньте, ради бога, — воскликнула графиня, все еще смеясь, но уже не на шутку испуганная странностию своего соседа.

— Нет, мне лучше так!

— Но мне не лучше.

Штаб-ротмистр встал и молча уселся на прежнее место, а графиня, никак не понимая, что с ним сделалось, приписала неожиданный порыв Петра Авдеевича его странностям, ей еще не знакомым, а для избежания повторения подобных сцен, она решилась окончить скорее разговор, по-видимому, слишком раздражительный для чувствительного сердца штаб-ротмистра.

— Короче, сосед, — сказала графиня, — разговор этот возобновим мы не здесь, а в Петербурге, куда прошу, а ежели этого мало, приказываю вам непременно явиться к светлому празднику[129]; к тому времени мой траур кончен и я свободна.

Графине не мешало бы прибавить, что, скинув черное платье, она возвратится в свет и постарается сама, ежели не забудет, или по-

ручит кому-нибудь поискать невесту для своего доброго деревенского соседа. Если бы графиня высказала всю мысль свою, то бедный Петр Авдеевич не стал бы тереть себе лба до самого вечера, а в полночь не пошел бы в конюшню и не приказал бы Тимошке выпустить из жил своих фунтов шесть крови. С штаб-ротмистром чуть не сделался паралич, и сделался бы он оттого только, что, по врожденной простоте своей, костюковский помещик принял слова ее сиятельства совершенно в превратном смысле; как же принял костюковский помещик слова ее сиятельства, то мы объясним ниже.

Приписав перевязку руки своей нечаянно-му ушибу, Петр Авдеевич скрыл на другой день от графини полуночное кровопускание, а говоря с нею, придавал взорам своим то меланхолически сладкое выражение, которого не придавал им прежде.

Последующие дни и недели проводились в селе Графском по программе, раз начертанной: катанье в санях сменялось катаньем с гор; по ночам охота за волками, по вечерам игра в дураки и пение.

Такого рода образ жизни казался раем для Петра Авдеевича; он готов бы был провести так целый век. Но, увы! деревенские забавы эти с каждым днем теряли прелесть новизны в глазах графини.

Дважды в неделю привозила ей петербургская почта кипы журналов, пакет писем и в них полный отчет в столичных наслаждениях. Сколько блестящих балов и праздников дала столица без графини! Сколько новых впечатлений сделано другими женщинами на умы ее обожателей, и как скоро забывает свет отсутствующих! Последняя мысль навела на прекрасный ротик Натальи Александровны горькую, едва заметную улыбку. «Пора домой!» — начинала говорить иногда сама себе Наталья Александровна, но, по счастью, слов этих не слышал штаб-ротмистр.

Прошел весь генварь, часть февраля; морозы значительно уменьшились, а с ними и ночные охоты стали повторяться реже; к этому лишению присоединилась порча ледяных гор, видимо уменьшавшихся от теплой погоды.

Навещая изредка Костюково, штаб-рот-

мистр съезжался в нем с рыжим господином и поражал его успехами, от которых преподаватель только что не приходил в отчаяние. Петр Авдеевич начал понимать некоторые слова, произносимые ее сиятельством, несмотря на то, что ее сиятельство за исключением буквы г произносила все прочие правильно, а из подобного быстрого изучения французского наречия учеником не явствовало ли для учителя, что в скором времени костюковская провизия и дрова станут оставаться в Костюкове? Сверх того, рыжий господин терял с Петром Авдеевичем последнюю практику, ибо в учебном заведении, подчиненном Дмитрию Лукьяновичу, он преподавал не это наречие, а арифметику.

Не замечая перемены, происшедшей в штаб-ротмистре и думая более об отъезде своем в Петербург, чем обо всем, касающемся до села Графского и всех его принадлежностей, графиня Наталья Александровна хотя и продолжала по-прежнему оказывать благосклонность к Петру Авдеевичу, но глаз более опытный легко заметил бы, что ясные дни штаб-ротмистра в селе Графском начинали прохо-

дить и что мысли ее сиятельства получили совершенно новое направление. Она не жила уже в своем Графском, а доживала в нем урочный срок; и то, что за месяц служило забавой ее сиятельству, в настоящее время ей казалось скучным, томительным. Предлагали штаб-ротмистр полуночную охоту или просто прогулку в санях, графиня не говорила более «ах, как это весело!», а просила соседа ехать без нее, отговариваясь то головною болью, то усталостью; случалось ли Петру Авдеевичу оставаться в Костюкове лишний день, сверх назначенного ее сиятельством срока, не являлось за ним более посланных, не писалось записок; будь на месте штаб-ротмистра другой, кто бы он ни был, все эти отступления графини от недавних привычек привели бы его в отчаяние.

Отчего же не приходил в отчаяние костюковский помещик? Не остыла ли в нем страсть к обожаемой им Наталье Александровне? Нет, но великодушная графиня не сама ли отложила счастье его до окончания траура, а, раз уверенный в этом счастье, не должен ли был Петр Авдеевич, как благород-

ный и деликатный человек, вооружившись терпением, ждать светлого праздника? «А до светлого праздника, — говорил сам себе, понизив голос, Петр Авдеевич, — ни гугу!». И, говоря это, он обыкновенно прищуривал правый глаз свой и, подняв кверху правую руку, грозил себе указательным пальцем. Счастливец!

Прошла масленица, наступил великий пост, раздался ежедневный протяжный звон сельских колоколов, повеселела окрестность, и первая песня жаворонка отозвалась в сердцах поселян какою-то неизвестною радостью; блеснуло наконец и мартовское солнце, растопились лучами его крещенские алмазы, сбросили леса свои белые саваны, и тысячи ручьев, журча и пенясь, побежали по всем направлениям.

Проснувшись однажды ранее обыкновенного, графиня Наталья Александровна взглянула в окно, и, ахнув, приказала тотчас же позвать к себе *monsieur Clément*.

— *Nous partons aujourd'hui*[130], — сказала ему графиня.

— *Oui, madame la comtesse*[131], — отвечал

француз, и чрез пять минут в селе Графском поднялась страшная суета; как сумасшедший бросался во все стороны господин Готфрид; на крик его сбегалась многочисленная дворня, таскала чемоданы, сундуки, ящики, лазила на империалы[132] подвезенных экипажей, и к полудню разбрелась по углам, оставя у главного подъезда палат знакомые нам графинину карету и кибитку, запряженные семериками, точно в таком виде, в каком встретил их, три месяца назад, штаб-ротмистр на перекрестке двух дорог.

— Уже, ваше сиятельство? — спросил у графини Петр Авдеевич печально.

— Пора, сосед, — отвечала Наталья Александровна.

— Но зачем же так спешить?

— Взгляните в окно: весна.

— Весна далеко, — заметил костюковский помещик, вздыхая, — да почему бы вашему сиятельству не пребыть до летнего пути?...

— О нет! ни за что! — воскликнула графиня, смеясь. — Домой пора, Петр Авдеевич; там ждут меня родные, друзья, а здесь становится скучно.

Конечно, прост был штаб-ротмистр, когда и эта фраза не раскрыла ему глаз. Нет, он только пожал плечами, потер себе лоб и вздохнул вторично.

— Впрочем, — прибавила графиня, — я надеюсь скоро видеть вас в Петербурге и уверена, что вы, сосед, не забыли наших условий.



— Умру разве, так забуду, ваше сиятельство.

— То-то же, Петр Авдеевич, не заживайтесь в Костюкове.

«Провались оно совсем», — подумал штаб-ротмистр.

— И ежели по хозяйству вашему, — продолжала Наталья Александровна, — понадобится вам что-нибудь, то знайте, что управляющему моему отдано приказание.

— Какое приказание, ваше сиятельство?

— Я не люблю этого тона, — воскликнула графиня, грозя пальчиком, — вы забыли, что костюковский домик принадлежит мне, сосед.

— О, вам, конечно вам, ваше сиятельство, и все, что в Костюкове, ваше.

— Тем более должны бы вы не возражать, а слушать, что я приказываю.

— Виноват.

— Прощаю в последний раз и повторяю, что ежели бы кому-нибудь в Костюкове понадобилось что-нибудь, то приказываю тому обратиться к Готфриду, понимаете?

— Это слишком, — заметил штаб-ротмистр.

— Что вы говорите?

— Я говорю, что это уже слишком милости-во, ваше сиятельство.

— Петр Авдеевич! я запрещаю вам приезжать в Петербург.

— Графиня!

— Я более не знакома с вами, Петр Авдеевич.

— Ваше сиятельство! — завопил, всплеснув руками, Петр Авдеевич, — не только свято исполню волю вашу, но потребуйте... ну, что бы такое?

— Так лучше, сосед, и предупреждаю вас вперед, что с капризными существами, подобными мне, может только ладить и ужиться тот, кто послушен как ребенок. Будьте же ребенком, Петр Авдеевич, и до свиданья.

— Прощайте, прощайте, ваше сиятельство, — проговорил дрожащим голосом костюмовский помещик, целуя протянутую ему ручку. Он хотел сказать еще что-то, но не мог; слезы душили его, а графиня, как бы не замечая их, вышла уже из комнаты. У кареты простился еще раз Петр Авдеевич с ее сиятельством и... она уехала, а он, простояв минут с десять на дворе, вытер украдкой глаза свои

клетчатый синим платком и возвратился в прихожую; он не пошел далее: у стен прихожей стояли дубовые лакированные скамьи, и на одну из них уселся он и проплакал еще с полчаса, как плачут мужчины.

Тяжка разлука с родными, с близкими, но с тою, кого любишь безотчетно, страстно, разлука похожа на ад со всеми его терзаниями, и это вполне испытал Петр Авдеевич; графиню Наталью Александровну любил он, как любили, вероятно, первые люди: чувством полным, сердцем, не иссушенным теми мимолетными ощущениями, к которым прибегают люди нашего века, как к лекарству от скуки; на женщин не смотрел еще штаб-ротмистр глазами пресыщения, в любви их видел он не прихоть, а высшее благо! Графиня соединяла в своей особе слишком много совершенств, чтобы не поработить в одно время как нравственных, так и чувственных способностей своего бедного соседа.

Выплакав в прихожей горе свое, штаб-ротмистр набросил на себя шинель, вышел, никем не замеченный, из великолепных палат графини и, не оглядываясь, дошел до коню-

шен. Там, отыскав Тимошку, Петр Авдеевич приказал ему запрячь скорее сани свои и, бросив в них чемодан, приказал гнать лошадей до самого Костюкова.

В Костюкове Петр Авдеевич снова посоветовался с Тимошкой, не метнуть ли руду[133]? но Тимошка объявил, что кладь[134] была бы полезительнее, и кладь эту составил Тимошка для господина своего собственными руками. Штаб-ротмистр, не знакомый ни с какого рода страхом, посадил рядом с собою Тимошку и, взяв из рук его вожжу левой пристяжной и плеть, крикнул «пошел!», и привычная к быстрому бегу тройка его помчалась с места, как из лука стрела, обдавая седоков темноватою жидкостью, перемешанною с снегом. В тех местах, где от скопления воды образовались зажоры[135], раздумье коней разрешалось сильным ударом плети и, облитые с ног до головы, господин и кучер выражали неудовольствие свое крутым русским словом и, протерев рукавами глаза, продолжали путь без оглядки. Но вот и большая дорога, и мост, и городская застава. «К городничему!» — крикнул Петр Авдеевич, стряхая с

шинели своей все, что было на ней лишнего. С треском и грохотом подкатила штаб-ротмистрская телега к знакомому крыльцу, и, узнав ее, стоявший у окна Тихон Парфеньевич изумился до чрезвычайности. Увидев в прихожей несколько женских салопов, костюмовый помещик спросил у Дениски, дома ли барин и кто у него?

Какое бы горе ни удручало нас, а по прошествии ночи, наутро то же горе кажется обыкновенно несколько сноснее; привыкает ли мысль наша к нему, или рассудок берет верх над нервами, как бы то ни было, но наутро следующего дня штаб-ротмистр напился чаю не без удовольствия и осмотрел оружейную свою с большим против прежнего вниманием. При осмотре этом присутствовали Кондратий Егоров с сыном своим, Ульяном Кондратьевым; но прикасался к оружию один господин, тогда как слуги ограничивали удивление свое одним вытягиванием шей и почтительными междометиями.

Не стану распространяться о житье-бытье штаб-ротмистра в Костюкове по отъезде графини; житье-бытье его не представляет ровно

ничего интересного. В грустные минуты светлый праздник приходил Петру Авдеевичу на ум, и, при этой мысли, все черные думы отлетали; и чем больше соображал и думал костюковский помещик о последних сношениях своих с ее сиятельством, тем больше утверждался он в надежде (кто бы подумал?) сделаться ее супругом. К чему бы говорить было ей, что он не дурен собой, умен, добр и может составить счастье всякой женщины? К чему спрашивала графиня об его летах, и не явно ли предлагала себя в невесты? а окончание траура? а неоднократный призыв в Петербург? а приказ, отданный управляющему, удовлетворять всем, нуждам, штаб-ротмистра, приказ, которым он, штаб-ротмистр, разумеется, никогда не решился бы воспользоваться. «Однако же, — подумал Петр Авдеевич, — праздник не за горами; поехать в Петербург легко тому, у кого в кармане тысяч пяток; у кого же их нет, нужно достать, а каким способом? Послать опять за жидом? да что у него возьмешь? сотню, другую, и те есть ли, полно? и есть, так на прогоны[136] не достанет; приедешь в Питер, потребуется парти-

кулярное платье, шляпа целковых в три, чего доброго, и шинель с бархатными полами — такие носят. А жизнь в гостинице, а извозчик? и тьма-тьмущая других мелких расходов? О боже! — воскликнул наконец штаб-ротмистр, — ну, а подарки невесте? да какой еще невесте! Не скажешь же ей: ваше сиятельство, пожалуйста, мол, тысячку рубликов на покупку галантерейностей, которые вам же поднесу! Нет, брат Петр, круто повернись, а деньгу роди, если не хочешь опростоволоситься».

Подумав два дня и две ночи, костюковский помещик отдал Тимошке приказ запрячь телегу, потому что, с наступлением четвертой недели поста, зима, разбросав остатки своих снегов по глубоким рвам и оврагам, бежала к северу, предоставив дороги покровительству капитан-исправников.

— Лизаветса Парфеновна, — отвечал Дениска, низко кланяясь.

— А Пелагея Власьевна здесь?

— И Пелагея Власьевна у нас.

— Ах, канальство! — проговорил сквозь зубы штаб-ротмистр, приостановясь у дверей

залы, — да что мне в самом деле? — прибавил он, махнув решительно рукою и толкнув ногою дверь, вошел.

В зале нашел Петр Авдеевич одного городничего, поклонился ему и объявил, что желал бы поговорить с ним наедине.

— Какие же, помилуйте, секреты могут быть между нами, Петр Авдеич? — иронически заметил хозяин. — Мы так далеки стали друг другу, что можем, кажется, обойтись без всяких тайных разговоров.

— Обстоятельства, почтеннейший Тихон Парфеньич, были причиною долгого моего отсутствия, — сказал штаб-ротмистр, запинаясь.

— Я и не в претензии, сударь, поверьте.

— Что же касается до чувств моих, — сказал Петр Авдеевич, — то смею доложить, чувства пребывают те же.

— И до чувств мне дела нет никакого, то есть ни малейшего дела; ежели же нужда вам до меня, Петр Авдеич, то я, по службе и обязанности, к услугам вашим. Что угодно?

Городничий указал гостю на стул и уселся сам, взявшись за бока.

— Никто не подслушает нас здесь? — спро-

сил гость.

— Некому-с и не для чего-с; в доме, кроме своих, никого нет.

— В таком случае, Тихон Парфеньич, я должен сказать вам, что имею действительно большую нужду.

— Во мне-с?

— В вас, Тихон Парфеньич.

— Странно! — но извольте говорить, я слушаю.

— Мне нужны деньги,

— Как-с?

— Мне нужно денег, Тихон Парфеньич, и очень много денег, — повторил штаб-ротмистр.

— Какое же мне до этого дело? — помилуйте.

— Я предполагал, что они есть у вас.

— У меня-с?

— Да-с

— А ежели есть, то сам живу, и не один. Все покупное; без денег, как вам известно, не проживешь нигде.

— Но, может быть, есть лишние.

— Лишние-с?

— Да-с.

— Как лишние? разве бывают у кого лишние деньги? — спросил с насмешкою городничий.

— Я хотел сказать, Тихон Парфеньич, что, может быть, есть у вас свободные капиталы, которые то есть в Приказе приносят малые очень проценты[137], то я мог бы предложить вам большие.

— Денег моих никто не считал, позвольте вам сказать, сударь, и куда бы ни клал я их, до того нет никому никакого дела.

— Вы напрасно сердитесь, Тихон Парфеньич.

— Я не сержусь, а крайне удивляюсь вашему, милостивый государь, предложению и не постигаю, чем я подал повод...

— Угодно вам меня выслушать до конца?

— И так давно слушаю, кажется.

— Тихон Парфеньич, — сказал штаб-ротмистр, вставая, — обстоятельства мои требуют, чтобы я был к светлому празднику в Петербурге; для поездки этой нужны деньги, которых у меня нет. Предлагаю вам в залог Костюково: на нем есть казенный долг, но нет

ни недоимок, ни частных взысканий. Согласны ли вы дать мне по шестидесяти рублей асигнациями за душу, всего семь тысяч двести рублей? Я сию минуту совершаю акт. Согласны ли?

— Помилуйте, да где же мне взять такой куш! — воскликнул городничий. Но слова эти уже произнес он другим тоном. — Мне, сударь, денег мыши не таскают.

— Стало, не согласны?

— Кто говорит: не согласен? и рад бы, то есть совершенно рад. Имение ваше знаю коротко, денег этих оно стоит, но, но...

— Простите же меня, что беспокоил вас.

— Позвольте! вот что можно бы попробовать, сударь, ежели только вам будет не противно... у меня, побожусь, нет ни алтына, Петр Авдеич, вы сами знаете.

— Я ничего не знаю, Тихон Парфеньич.

— Ну, не вы, знают другие; а у сестры Лизаветы Парфеновны не попытаться ли...

— Мне все равно...

— Хотите я спрошу?

— Сделайте одолжение!

— Так посидите же здесь, а я мигом возвра-

щусь, и будьте уверены, что только для вас, единственно для вас, беру эти хлопоты на себя, сударь.

Штаб-ротмистр отвечал на уверение хозяйина сухим поклоном и, проводив глазами городничего до дверей гостиной, принялся бить пальцами зорю на оконном стекле. Отсутствие городничего было непродолжительно, а когда он возвратился в залу, лицо его приняло озабоченное выражение.

— Какой ответ несете вы мне? — спросил штаб-ротмистр. — Ежели отказ, то, сделайте милость, не томите меня, Тихон Парфеньич!

— Отказ, сударь, не отказ, а в деле таком поспешность не годится, — отвечал городничий. — Сестра не сказала нет...

— Стало, да?

— Не сказала и да; а вот, извольте видеть, ей бы, то есть, желательно было бы знать, на какую потребу понадобилась вам такая сумма?

— Это мое дело.

— Согласен, сударь, но Лизавете Парфенов-не как-то привольнее было бы, если бы деньги, вами просимые, пошли на пользу вашу;

хотя вы, почтеннейший, и забыли нас, — прибавил, улыбаясь, городничий, — но не менее того все-таки мы думаем, что Петр Авдеич нам не чужой человек.

— От полноты сердца благодарю Лизавету Парфеновну за участие, но тайн моих, Тихон Парфеньич, объяснить не могу, тем более что тайны эти принадлежат не мне одному...

— Понимаю-с.

— Понимаете или нет, дело ваше; я, по крайней мере, не сказал ни слова.

— Скромность — вещь похвальная, Петр Авдеич, в особенности когда в тайнах участвует важная особа.

— Я молчу, Тихон Парфеньич.

— Я не проговорюсь, сударь, будьте благодарны, а слухами земля полнится; поговаривали и о жеребчике, и о Костюкове, и о прочем другом.

— Рта не зажмешь!

— И не нужно, сударь, когда молва не касается чести; честь при вас, и великая честь отбить у тысячи соперников такую особу, какова графиня Наталья Александровна.

— Тихон Парфеньич, — перебил, не без

внутреннего и весьма заметного удовольствия, штаб-ротмистр, — вы, как благородный человек, подтвердите, при случае, что все вами высказанное не было никогда говорено собственно мною.

— Следовательно, Петр Авдеич, слухи-то наши не без оснований.

— Я все-таки молчу.

— Напрасно, сударь, право, напрасно; не вовсе же мы чужие и, что бы ни поверили вы нам, сумеем сохранить в тайне.

— Но что же могу я поверить?

— Мало ли что, а за доверие люди добрые заплатили бы не глупым советом, сударь. Слова нет, вы и умный человек, да молодой: седые волосы иногда стоят рассудка! А кто поручится, что дружеское мнение не пригодится, хоть в Петербурге, например; нам не в диковинку столица: не раз, сударь, бывали в ней и живали.

— Как, Тихон Парфеньич, вы были в Петербурге? — спросил с живостию штаб-ротмистр.

— Еще бы не быть; да Петербург знаком мне, как мой город.

— Как я рад! — воскликнул Петр Авдеевич.

— В Петербурге, сударь, — продолжал городничий, — свежему человеку нельзя сказать, чтоб ловко было сначала: запутаешься в нем как раз без знакомых. А у вас есть знакомые там, Петр Авдеич?...

— Одна графиня.

— Оно хорошо, даже очень хорошо — не спорю, но, может быть, покажется вам не то чтобы ловко остановиться у нее в доме.

— Разумеется, нет.

— Следовательно, хоть первую ночь, а придется переночевать в трактире каком-нибудь.

— И первую, и вторую, и неделю придется, коли не более.

— А долго намереваетесь пробыть в столице?

— Я? да, таки долговато, — отвечал с самодовольною улыбкою Петр Авдеевич.

— Из этого, сударь, и заключить не трудно, — заметил, улыбаясь, городничий, — что слухи не ложны, и скоро вам на Костюково глядеть не захочется. И то сказать: село-то Графское ничуть не хуже, а с такою женоушкою, как ее сиятельство, и в селе Графском навряд ли соскучишься жить. Эх, Петр Авдеич!

ну, что пользы морочить добрых людей! Расскажите попросту, свадьба ведь скоро?...

— Тихон Парфеньич, ну, на что вам?...

— Мне? как на что? Порадоваться за старого приятеля да предложить ему услуги по силам.

— Ну, ну, положим, что скоро, — отвечал, смеясь, штаб-ротмистр.

— На Фоминой, небось...

— Ну, на Фоминой; потом же что?...

— А на Фоминой[138], так торопиться действительно нужно, и деньжонок призапасти не мешает...

— Как же не торопиться, посудите сами, Тихон Парфеньич! шила в мешке не утаишь, и скрывать, почтеннейший, не для чего; по правде сказать, коли уже все знают... только, сделайте милость, то есть не разглашайте; знаете, нехорошо заблаговременно.

— Предателем не был и не буду.

— Кто говорит о предательстве, почтеннейший, так, чтобы не сболтнуть.

— Болтают нетрезвые, сударь.

— Боже упаси меня полагать такое, Тихон Парфеньич.

— А не полагаете, так к делу: право, пора — сестра ждет решительного чего-нибудь; деньги у ней готовы, закладной в суде не замешкают; только вот что, Петр Авдеич...

— Что же такое?

— Запродажная запись не была бы ли чище? По закладной хлопот много: пойдут справки да выправки, пожалуй, продлится с месяц в присутственных местах; а будто продали, и дело с концом! Заплатите в срок — бумажку в куски; просрочить вам не для чего, и сестра покойна, и вы покойны; право бы так.

— По мне, пожалуй, — сказал Петр Авдеевич, подумав с минуту, — как ни кончить, да кончить. Деньги же скоро можно то есть получить?...

— За деньгами остановки не будет; вынимайте бумажонку — и по рукам.

— Ну, благодарю, Тихон Парфеньич, услугу важную оказали мне...

— Но не даром, — перебил городничий, — чур, не забыть нас, бедных и ничтожных, когда возвыситесь.

— На этот счет просить не нужно; одолженье за одолженье, — отвечал, смеясь, штаб-

ротмистр.

— То-то, сударь, смотрите, обманете — стыдно будет.

— Век не обманывал, Тихон Парфеньич, а с тридцати лет начинать поздно.

— Где же свадьба?

— Сказать?

— Разумеется, сказать!

— Ей-богу?

— Ей-богу, — повторил городничий, трепля дружески штаб-ротмистра по плечу...

— Не выдадите, Тихон Парфеньич?

— Что вы, присягнуть прикажете, что ли?

— А не выдадите, так не знаю, где именно свадьба, а думаю быть женатым скорехонько.

— Ай да молодец, вот уж подлинно молодец!

— Недурно то есть распорядились?

— Чего дурно, сударь, чай, у столичных франтов от зависти полопают легкие.

— Пусть их лопают, почтеннейший, а как женюсь, такой пир задам, что ахти мне.

— И нас позовете?...

— Еще бы: женка-то какая будет, не чета какой-нибудь Коч... — Тут штаб-ротмистр

прикусил себе язык и присел, зажимая рот.

В тот же миг за притворенными дверьми гостиной раздалось громкое рыданье. Городничий бросился на плач, а Петр Авдеевич схватил фуражку свою, выбежал вон из залы.

Считаю излишним называть то существо, которое поднял Тихон Парфеньевич с пола своей гостиной.

К страстной неделе[139] все нужные бумаги для свершения сделки штаб-ротмистра с Елизаветою Парфеньевною Кочкиною были приведены к окончанию, и денежная сумма, за исключением значительных процентов и еще значительнейших расходов по делу, вручена городничим Петру Авдеевичу.

Вполне счастливый костюковский помещик, не помня себя от радости, приступил ко всем приготовлениям и, рассчитав не только дни, но часы и минуты, он отслужил в городе молебен и торжественно отправился в Петербург.

Тихон Парфеньевич снабдил его всеми нужными, по мнению его, наставлениями, а Елизавета Парфеньевна, забыв все прежние, как она говорила, неприязненности, вручила

ехавшему с бариним Уляшке огромный пирог с печенкою. Уляшка, повибаскав из чешодана скромный барский скарб, развесил его по всем диванам, креслам и стульям; потом вычистил штаб-ротмистрские сапоги, выбил трубку и, не снимая тулупа, улегся на одной из кушеток, обитых трипом, которая показалась Уляшке удобнее прочих. Слуга заснул прежде господина: думать было ему не о чем, дворца и Невы он не видал, а поужинать успел Уляшка вплотную, выпить также; чего же более для русского человека, не взыскательного по природе своей?

Рассчитывая время, штаб-ротмистр не ошибся; он дал себе клятву прибыть в Петербург накануне светлого праздника, чтоб первому поздравить ее сиятельство, и за час до заутрени телегу Петра Авдеевича остановили у московской заставы; подорожная записана [140], и оставалось назначить ямщику тот дом или ту гостиницу, в которой намерен был остановиться костюковский помещик.

Ночь была темна и туманна, — фонари не освещали улиц, а казались желтоватыми пятнами на темном поле. Петр Авдеевич, выско-

чив из телеги, отыскал в кармане целую кипу скрученных бумажек, исписанных рукою Тихона Парфеньевича, но адреса квартиры, в которой двадцать три года назад останавливался городничий, отыскать никак не мог.

— Ну, пошел куда-нибудь! — воскликнул штаб-ротмистр, обращаясь к ямщику, — да только смотри в хорошую гостиницу, а не в дрянь какую-нибудь.

— Отвезем в хорошую, барин, — отвечал ямщик, легонько ударяя коней.

Телега проехала Обухов мост, Сенную площадь, повернула направо и, проехав Невский проспект, остановилась у ворот гостиницы Демута.

Измученный долгой дорогою, толчками и нетерпением, штаб-ротмистр потребовал скорее номер.

— В какую цену? — спросил не совсем учтиво встретивший его человек во фраке, приняв приезжего, сообразно русской пословице, по платью.

— А вы кто есть такой? я с вами не говорил, — отвечал Петр Авдеевич с учтивостию, причиною которой был фрак.

— Я? служитель здешний...

— Служитель?...

— Малые нумера заняты, а осталось отделение в бельэтаже, — продолжал слуга, — чтобы не показалось дорогонько. — Он дерзко и насмешливо окинул взглядом грязно одетого штаб-ротмистра, который в свою очередь, узнав, что говоривший с ним так непочтительно был не более как служитель гостиницы, не удовольствовался одним словесным ответом, но, засучив рукав правой руки, начинал заносить ее по всем правилам наступательной гимнастики.

Фрак, знакомый, вероятно, с подобными жестами, в один миг переменял мнение свое о приезде и, увернувшись от штаб-ротмистрской ладони, преучтиво пригласил его пожаловать за ним.

Не познакомь штаб-ротмистра село Графское с роскошным убранством комнат, отделение, которое отведено было Петру Авдеевичу в гостинице Демута[141], конечно, бросилось бы ему в глаза. Малиновые насыпные обои[142], покрытые слоем нечистот, почерневшие бронзовые часы и канделябры, три-

повая, засаленная от частого прикосновения мебель [143] и потрескавшийся паркет — все это намекнуло бы всякому другому постояльцу, что хозяин гостиницы заставит заплатить его очень дорого за неопрятность своего парадного отделения.

Косткжовскому помещику было не до того; заутреня началась во всех церквях; металлический гул раздался по всей столице. «Графиня, — думал наш герой, — вероятно, возвратится из церкви не раньше как часам к двум, много к трем. Как же рада она будет! Чай, прождала вчера весь день и говорила: верно, не будет, сердце мое чувствует, что не будет! А я тут как тут!»

— Уляшка, — крикнул штаб-ротмистр. — Поди вниз и узнай от кого-нибудь, где живет ее сиятельство графиня Белорецкая.

Уляшка обратился с этим вопросом к слуге, слуга послал его к дворнику, дворник пришел с Уляшкой к штаб-ротмистру и поздравил его с праздником; но о жилище ее сиятельства не знал никто из прислуги гостиницы Демута.

— Пойду я сам и справлюсь в городе, —

сказал сам себе Петр Авдеевич, — короче будет.

Не умывшись и не выбрив лица, он наскоро надел давно знакомый нам сюртук, шинель, фуражку и, приказав Уляшке не отлучаться, вышел на улицу.

Город блистал уже тысячами огней; народ двигался по всем направлениям; кареты скрещались на каждом шагу; все лица сияли радостью. Петр Авдеевич присоединился к толпе, которая, как быстрый поток, увлекла его за собою. Через минуту очутился он на Дворцовой площади; тут представившаяся глазам штаб-ротмистра картина до того поразила его, что он забыл и себя, и цель поездки своей в Петербург. Долго, разинув рот, не мог он отвести взоров от великолепного зимнего жилища русских царей, сиявшего всем блеском своего величия. Несколько далее и налево от дворца, на едва колыхавшейся поверхности невских вод, качались фрегаты и другие царские суда, разукрашенные разноцветными флюгерами, флагами и блиставшие тысячами фонариков; еще далее, на темно-синем горизонте тянулись черною полосой величавые

стены крепости и высился к небу бесконечный шпиг Петропавловского собора.

Дошедши до набережной, штаб-ротмистр сначала впился жадными взорами в описанную нами картину, потом повернул голову на сторону Зимнего дворца, опоясанного огненным ожерельем. Сквозь стекла окон блеснуло ему так много золота, так много звезд, что пораженный ум Петра Авдеевича отказался от дальнейших соображений.

«Господи боже мой! да что же это такое в самом деле? — проговорил вполголоса костюмовский помещик. — Неужто все это мне мерещится?... или доступны людям такие чудеса?»

При мысли этой погрузился он в глубокую думу, а крепость, дрогнув, осветилась мгновенно ярким пламенем, разразилась страшным ударом и покатила по дремлющей красавице Неве волны белого дыма... На возглас крепостных каронад[144] фрегаты царские отозвались оглушительным грохотом; воздух потрясся, земля задрожала, и народ русский, обнажив голову, набожно перекрестился.

— Христос воскресе, родимый! — сказал

какой-то бородатый старик в коричневой сибирке[145] стоявшему возле него штаб-ротмистру.

— Воистину! — отвечал последний, заключая бородача в свои объятия. Кругом лобызались все, как лобызается в кружку своем одна родная семья.

Очень довольный неожиданным приветствием сибирки, и не простой уездной, а столичной, Петр Авдеевич обратился к ней с вопросом, не знает ли она, паче чаяния, ее сиятельства графини Белорецкой?...

— Знавал, батюшка, точно знавал, — отвечал бородач, — и не раз доводилось вывозить мусор со двора ее графского сиятельства.

— Как я рад, что ты знаешь! — воскликнул штаб-ротмистр. — Я, братец, признаюсь тебе, первый раз в Питере и ровно ни с кем не знаком.

— Так-с!

— У графини же должен быть тотчас после заутрени.

— А ваша милость сродственник им?

— Нет еще, дружок.

— Стало, по дельцу какому пожаловать из-

волили?

— По делу, братец.

— Понимаем-с!

— Ну, скажи же мне, пожалуйста, где дом ее сиятельства? Знаю я, что в собственном живет, и улицу называли, да невдогад мне и не записал. Подумал: может ли быть, чтобы в Питере не знали ее дома.

— Язык и до Киева доведет русского человека.

— То-то и есть.

— Покойница-то, — продолжал, подумав, бородач, — проживать изволила на Литейной.

— Покойница? — повторил с ужасом Петр Авдеевич.

— А не знали, ваша милость? чай, годков двенадцать есть, как скончаться изволила.

— Уж какой же ты, братец, — проговорил штаб-ротмистр, глубоко вздохнув. — Вот перепугал! насмерть то есть.

— Чего-с?

— Я говорю, братец, про графиню Наталью Александровну, а ты толкуешь, прах тебя знает, про покойницу какую-то.

— Наталья Александровна? — повторил бородач, — стой, стой! Эй, Прокоп, а Прокоп! подь сюда — крикнула сибирка, и на зов этот подбежал краснощекий парень в длинном купеческом сюртуке и глянцевиной шляпе.

— Скажи, пожалуй, — спросил старик, — не доводилось ли тебе счищать двор у золовки покойницы графини Прасковьи Васильевны? ну, той, что знаешь, в запрошлом году...

— Кому требуется, тятенька?...

— Вот этому барину.

Быстро повернувшись к штаб-ротмистру, молодой парень приподнял шляпу свою, потрянул головою, вместо поклона, и, похристосовавшись с Петром Авдеевичем, объяснил ему на кудреватом наречии, что графиня Наталья Александровна, то есть золовка покойницы, живет в собственной фатере, на Большой Морской, что дом богатый, важнейший дом у графини, да дворня, то есть без всякого обхождения, словно гармизонт какой.

Отыскать Большую Морскую[146] было не трудно штаб-ротмистру; дом же ее сиятельства указал ему первый попавшийся ему из-

возчик; но весь передний фасад этого дома был мрачен, и в двух окнах, у самого подъезда мелькал слабый свет. Петр Авдеевич постучался в резную дубовую дверь; он не заметил ручки звонка и другого способа входить не знал; за дверьми не отозвался никто. Петр Авдеевич повторил удары; тоже молчание. Он повернулся к дверям спиною и каблуками поднял такой стук, что дремавший у лестницы швейцар, в испуге и спросонья, опрометью бросился к подъезду.

Увидев небритого и покрытого грязью господина, привратник ее сиятельства с негодованием спросил у штаб-ротмистра, зачем он лезет.

— У себя ли графиня?

— Графиня? — повторил протяжно швейцар, продолжая всматриваться в вопрошавшего. — А что тебе в том, у себя ли графиня? зачем пожаловал в такую пору? стащить небось что-нибудь?

— Ах ты грубиян! ах ты неуч такой! — заревел разгневанный костюмовский помещик, — да знаешь ли, ракалия[147], что, скажи я только слово ее сиятельству, праху твоего не оста-

нется здесь!

Принимая, вероятно, раннего гостя за бродягу, встретившего светлый праздник слишком весело, опытный привратник, не желая заводить шуму, прехладнокровно взял Петра Авдеевича за плечо и, прежде чем тот успел сделать какое бы то ни было сопротивление, вытолкнул его за дверь и запер ее на ключ.

Бешенство штаб-ротмистра дошло до высочайшей степени; он бросился было назад, но дуб устоял, и, как ни кричал Петр Авдеевич, на крик его не появлялся более швейцар, а явились два дворника, вооруженные метлами. Они подошли к нему с обеих сторон, и, взяв под руки, свели с крыльца, и, приговаривая «ступай, ступай, любезный!», проводили до самого Невского проспекта. Напрасно объяснял им Петр Авдеевич, что ее сиятельство коротко ему знакома, что приехал он в Питер единственно для того, чтобы повидаться с нею, что ее сиятельство приказала ему приехать, дворники не переставали легонько подталкивать его, приговаривая однозвучное «ступай, ступай, любезный!».

— Хорошо же! я вас ужо, — проговорил

Петр Авдеевич и, бросив на проводников своих гневный взгляд, скорыми шагами пустился вдоль проспекта.

Домохранители ее сиятельства, постояв с минуту на углу улицы, молча возвратились домой, а костюковский помещик, вспомнив, что не знает, где остановился, стал в тупик. По счастью, Полицейский мост показался ему знакомым; извозчики навели Петра Авдеевича на самую ближнюю гостиницу, и гостиница эта оказалась Демутовою.

Взойдя в свое отделение, костюковский помещик взглянул в зеркало и ужаснулся. Лицо его и одежда не могли не произвести на швейцара неблагоприятного впечатления, и, помирясь мысленно с ночными неудачами своими, Петр Авдеевич положил отсрочить свидание свое с ее сиятельством до позднего утра. Вытребовав рюмку водки и кушанья, он поел, разделся и лег отдохнуть.

Давно проснулась столица, и народ кипел в ней как в котле. В блестящих каретах мчались по Невскому проспекту блестящие мундиры; дождь визитных карточек лился в прихожие богатых домов, все бодрствовало, все

шевелилось кругом, и не шевелился один штаб-ротмистр; не шевелился и верный грязным привычкам своим Ульянов, превративший, в несколько часов, прикосновением своим, бархат кушетки в материю неведомого рода.



При пробуждении штаб-ротмистра ожидало несколько новых неудач. Во-первых, он проснулся не в восемь часов, а в четыре попо-

лудни: значило, час поздравлений прошел давно; во-вторых, Петру Авдеевичу объявили, что все магазины и лавки не отопрутся до четвертого дня праздника, а в-третьих, донес дворник, что в Кирочной, по врученному ему штаб-ротмистром адресу, не нашелся тот, отрекомендованный Тихоном Парфеньевичем, портной, живший в Петербурге двадцать два года назад, а отыскался таковой близ Чернышева моста. Дворник вызывался даже проводить к нему штаб-ротмистра, но не ранее четвертого дня праздников, потому что «в первые дни всякий гуляет», заметил дворник.

Петр Авдеевич вздохнул протяжно, помочил языком своим ус, подергал его и рассудил, что показаться ему в свет, не представившись ее сиятельству, было бы крайне неловко и лучше просидеть эти дни на своей половине и дать время лицу и рукам штаб-ротмистра отойти. Лицо штаб-ротмистра и руки были действительно такого ненормального цвета, что рассматривая их внимательно, можно было бы подумать, что продержал их Петр Авдеевич в каком-нибудь химическом растворе, в состав которого вошло изрядное

количество едких веществ. На обычный вопрос: «Принимает ли графиня?» — швейцар отвечал: «Пожалуйста». И в том же будуаре застал графиню штаб-ротмистр, и на том же кресле пил с ее сиятельством кофе и долго, долго говорил и шутил. Графиня продолжала называть его просто соседом.

Трое суток провел костюковский помещик у окна гостиницы своей, от утра до сумерек, а в сумерки выходил в коридор и, куря трубку, беседовал то с слугами гостиницы, то с мимо пробежавшими горничными. У первых спрашивал он, что делается новенького, а у последних — кто их господа и из какой губернии.

Наступило утро четвертого дня. Пробудясь довольно рано, Петр Авдеевич приказал нанять суточного извозчика и в сопровождении дворника пустился в город. Первый визит, им сделанный, был к портному Савелью Лебедину, обитавшему на чердаке близ Чернышева моста. Портной, худенький человечек с известковыми наростами на ногтях, сначала рассыпал на столе кучу разноцветных кусочков шерстяных материй и помог выбрать из

них самые модные, потом, сняв с штаб-ротмистра мерку, обязался поторопиться изготовлением всех заказанных ему штук.

От портного Петр Авдеевич заехал в Гостиный двор, купил полдюжины готового белья с прошивочками, манжеты на руки, шляпу, палку, две пары сапогов, стклянку с восточным букетом, то есть пачулею[148], и, очень довольный всеми приобретенными вещами, возвратился в гостиницу. Вечер того дня прокурил он в билльярдной палкинского трактира[149], а все следующее утро употребил штаб-ротмистр на дополнение в Гостином дворе своего щегольского туалета. Он не забыл ни пестрого шарфа, ни булавки с розетками[150], ни блестящих запонок, ни перчаток первого сорта, притом просторных, как вообще любил их, находясь еще в службе.

Побуждаемой то дворником, то Уляшкою, Савелий Лебедкин окончил к сроку принятой заказ и все штуки разом принес ожидавшему его Петру Авдеевичу. То было в пятницу.

Глаза костюковского помещика разбежались, когда Лебедкин, с свойственною портному ловкостью, разостлал перед ним новый

«туалет» его; и действительно, ничто не могло сравниться с изысканностью цветов тех материй, из которых были сшиты новые платья[151]: какие полосы не бежали по нижним платьям! с какими другими полосами не смешивались они, образуя то кружки, то полукружки! А пуговицы на голубом и коричневом фраке! поднеси их к свету: глазам больно станет; на иных красовалась древесная ветка, на других словно звезда с лучами и всякими прочими затеями. Больше всего понравился Петру Авдеевичу лиловый жилет с вышитым бордюром и таким выпуклым, что, дотронься до него слепой, он тотчас бы догадался, в чем сила. Поблагодарив Лебедкина за платье и снабдив его новыми заказами, штаб-рот-мистр приказал Уляшке сходить за цирюльником, а сам уселся бриться.

Ровно в полдень вошел костюмовский помещик в прихожую дома ее сиятельства. Швейцар, не узнавший гостя, доложил, что графиня еще не принимает.

— Скажи, братец, ее сиятельству, что я не посторонний, а Петр Авдеич Мюнабы-Полеводов, и больше ничего; впрочем, приятель, их

сиятельство там уже знают...

Посланный швейцаром слуга немедленно возвратился и, к великому удивлению первого, доложил гостю, что изволили приказать просить.

Поправив воротнички манишки и пригладив волосы, Петр Авдеевич с трепетным биением сердца пошел по лестнице наверх.

На Петре Авдеевиче был коричневый фрак, лиловый жилет, пестрый шарф, страсовая булавка, блестящие запонки, и панталоны, полосатые до крайности. Цирюльник придал голове его запах бергамота, смешанного с поджаренным маслом, оставшимся, вероятно, на щипцах. Лацканы же фрака и носовой платок заражены были восточным букетом пачули.

Пройдя длинную анфиладу комнат, далеко не столь роскошную, на глаза Петра Авдеевича, как покои села Графского, он повстречал хозяйку в дверях спальни.

— Здравствуйте, сосед! — воскликнула графиня с такою же точно улыбкою на устах, с какой обыкновенно встречала она соседа своего месяц назад. — Очень, очень рада видеть

вас; наконец вы в Петербурге, сосед! — прибавила она, протянув ему свою ручку.

— Я приехал не сегодня, ваше сиятельство, а как приказать изволили, то есть как раз к заутрени светлого Христова Воскресенья.

— Что же вы делали до сих пор и почему не были еще у меня?

— Я был, ваше сиятельство, но люди ваши не допустили меня.

— Быть не может.

— Божусь!

— Но когда же? мне ничего не сказали.

— Я заходил, ваше сиятельство, поздравить в утро первого дня.

— Теперь понимаю, — перебила графиня, — люди мои были напуганы каким-то бродягою, а может быть, и негодяем, который, вообразите себе, сосед, был так дерзок, что насильно ворвался в дом и кричал так громко, что люди должны были прибегнуть к силе и с трудом выгнали его на улицу. Вот отчего и вас, думаю, как незнакомого человека, не приняли.

Слушая ее сиятельство, костюковский помещик вспыхнул и не только не назвал име-

ни бродяги, но навел разговор на другие предметы.

Наталья Александровна, как и в селе Графском, посадила рядом с собою Петра Авдеевича, напоила его кофеем, смеялась, шутила, но, чего не замечал штаб-ротмистр, называла его не иначе, как «сосед»; а называла его так графиня потому, что имени и отчества припомнить никак не могла.

Два часа пробыл счастливец в прекрасном будуаре графини и премило выпровожен был ею, с строгим приказом не забывать ее и являться часто и без церемонии.

«Боже праведный! за что изливаешь ты на недостойного раба твоего такую благодать! — повторял с чувством костюковский помещик, — и чем я заслужил столь великие щедроты твои?» И речь эту повторял по нескольку раз в день Петр Авдеевич.

Усердно промолясь часть ночи, штаб-ротмистр дал обет сходить пешком в Невский монастырь, отслужить угоднику молебен, потом поклониться Казанской Богоматери. Через сутки он снова отправился к своей графине, но через сутки графиня не могла принять его;

она поздно легла в постель и будить себя не приказала.

Петр Авдеевич прождал три дня, а на четвертый сделал новую попытку: графини не было дома.

«Что же бы это значило?» — подумал костюковский помещик и, пропустив еще некоторое время, снова явился в прихожую к ее сиятельству.

Промежутки между визитами своими к ее сиятельству убивал Петр Авдеевич частью на улицах, частью в бильярдной палкинского заведения, где удалось ему завестись обширным знакомством; там нашел герой наш людей очень обязательных и счастливых игроков; говорю счастливых потому, что некоторые из них выигрывали у Петра Авдеевича только тогда, когда Петр Авдеевич ставил порядочный куш; другие из обязательных знакомцев палкинского заведения не играли с ним вовсе, но держали пари, удвоивая куши при выигрыше; а результат штаб-ротмистрского препровождения времени в бильярдной обозначался половинною убылью капитала, занятого у Елисаветы Парфеньевны Коч-

киной. Впрочем, стоило ли думать Петру Авдеевичу о таких пустяках? Не ниспосылало ли ему небо в числе великих щедрот десять тысяч душ и много прочего другого? С такими утешительными мыслями и прибыл он в дом ее сиятельства после недельной разлуки.

На этот раз произошла в свидании Петра Авдеевича с ее сиятельством одна только ничтожная вариация: вошел в будуар, без доклада, какой-то очень недурной собою молодой человек, который даже не поклонился графине, а просто пожал ей руку и, с любопытством посмотрев на штаб-ротмистра, преспокойно уселся на первые попавшиеся кресла.

Станным показалось костюковскому помещику, что на молодом человеке этом не было ни запонок, ни булавок, ни даже пестрого платка, а просто что-то черное; нижнее платье его не притянуто даже было книзу двумя глянцевитыми штрипками, а вместо шарфа на шее был небольшой черный платок, повязанный весьма небрежно. «Разгильдяй!» — подумал штаб-ротмистр, отвернувшись от помешавшего ему гостя.

Нужно было графине, как хозяйке дома,

спросить у нового гостя что-нибудь; она и спросила по-французски.

Петр Авдеевич уже понимал это наречие, и понял, что графиня спросила, отчего уехал он вчера так рано от нее.

— Je tombais de sommeil[152], — отвечал молодой человек.

«Невежа!» — подумал Петр Авдеевич.

В свою очередь и молодому человеку нужно же было спросить у хозяйки что-нибудь; он и спросил у нее, взглянув искоса на штаб-ротмистра:

— D'ou vous tombe ce prodige[153]?

— Cela? C'est un de mes pauvres voisins de campagne, brave homme du reste, que je voudrais marier[154].

— Avec qui done, par exemple[155]?

— Peu importe[156] — отвечала, смеясь, графиня.

И этих немногих слов достаточно было Петру Авдеевичу, чтобы, забыв все приличия, издать глухой, ужасный стон, побагроветь и подняться на ноги.

— Что с вами, что это? — воскликнула испуганная графиня, со страхом смотря на него.

— Ни-че-го-с! — отвечал штаб-ротмистр и, шатаясь, вышел из будуара.

В тот же вечер, заплатив в гостинице Демута по не поверенному никем счету, костюковский помещик приказал нанять лошадей до первой станции и в сумерки выехал из Петербурга в той самой телеге, в которой въехал в него так недавно.

Петр Авдеевич не пил, не ел, не спал и не говорил слов. В кармане Петра Авдеевича находилось достаточно денег на прогоны, на весь путь до Костюкова! Какое счастье!

Первым делом штаб-ротмистра, по приезде его на родину, было следующее распоряжение: он снял со стен своего домика картины, оружия и прочие украшения, бережно уложил все в ящики и, вместе с мягкой мебелью, отправил в село Графское. Потом принялся Петр Авдеевич сдирать со стен разноцветные бумажки, а кончив и это занятие, приказал расставить по комнатам все, что находилось в них до приезда графини. Горностай подвергся той же участи, но расстаться с ним штаб-ротмистр не мог еще решиться никак, он просидел в стойле его целый час, а возвратив-

шись в спальню, прилег на трехногий диван своей и горько заплакал.

В продолжение одной недели голова штаб-ротмистра покрылась сединою, глаза его потухли, щеки впали, а отросшая борода придавала недавно свежему лицу его выражение страдальца; он не говорил ни с кем, не входил в хозяйство, а ежели случалось Кондратью Егорову докладывать, что нужно бы купить кое-что для дома, но денег не было в конторе, Петр Авдеевич отвечал обыкновенно «не нужно» и знаком приказывал приказчику выйти.

Так протянулась еще неделя, а за нею настал и срок платежа семи тысяч двухсот рублей, занятых у Кочкиной. О сроке этом, конечно, не вспомнил бы костюковский помещик, но вспомнил Тихон Парфеньевич и, в сообществе Дмитрия Лукьяновича, пожаловал в Костюково.

Войдя в первую комнату, городничий оглянулся во все стороны и покатился со смеху...

— Ба! — воскликнул он, утирая глаза рукою, — старые знакомые, добро пожаловать; посмотри-ка, брат Дмитрий, и стульчики и

столы — все наследственное, видно, гости-то разъехались по домам. Ай да Петр Авдеевич, вот разодолжил!

Новый смех, к которому присоединился и смех Дмитрия Лукьяновича, раздался в бедных стенах жилища штаб-ротмистра.

— Где же барин? — спросил наконец Тихон Парфеньевич у Кондратя Егорова, стоявшего у дверей в грустной задумчивости.

— Барин нездоров, — отвечал приказчик.

— Чай, после петербургских свадебных пиров? Чему дивиться, занеможешь как раз с непривычки-то; ну, братец, так веди же нас к нему: дельце есть небольшое.

Петр Авдеевич, не обратив никакого внимания на слышанный им смех и сарказмы, просил гостей извинить его и присесть.

— Рады бы, сударь, да недосуг нам, почтеннейший, — отвечал городничий, — мы, извольте видеть, пожаловали к вам по дельцу.

— По какому, Тихон Парфеньич?

— Сегодня срок, сударь, долгишке; он, разумеется, плевый для вас; ну, а сестре Лизавете...

— У меня нет денег, Тихон Парфеньич, —

сказал равнодушно штаб-ротмистр.

— А нет, так и не нужно; условие останется в полной силе; а сказано в нем: что, буде я, то есть отставной штаб-ротмистр Петр Авдеев, сын Мюнаба-Полевелов, такого-то числа и года не возвращу обратно вдове надворного советника Лизавете Парфеновой Кочкиной полученных мною в виде задаточной суммы семи тысяч двухсот рублей государственными ассигнациями, то вольна она, Лизавета Парфенова, дочь Кочкина, вступить во владение родовым имением моим и проч. и проч.

— Что же мне теперь делать? — спросил Петр Авдеевич.

— Что? — повторил, смеясь, городничий, — а что же делать? или возвратить заимствованную сумму, или снабдить, хоть меня, или, пожалуй, племянника форменною доверенностию для свершения именем вашим купчей крепости. Да, я ведь и забыл было сообщить вам, мой почтенный, о сочетании законным браком родной племянницы, вы помните ее, может статья, Пелагеи Власьевны с Дмитрием Аукьяновичем.

Штаб-ротмистр не отвечал ни слова.

— Что же вы, сударь, не поздравите меня? вот это не хорошо, — прибавил Тихон Парфеньевич, — я в подобном, или, правда, не совсем подобном, случае, а, помнится, и радовался и поздравлял вас...

Высказав это, городничий кивнул штатному зрителю, и оба зажали рты платками, чтобы не лопнуть со смеху.

Убедившись, что Петр Авдеевич или не слышит ничего, или уже бог знает что с ним делается, Тихон Парфеньевич подложил ему заблаговременно подготовленную доверенность на имя самого городничего... Петр Авдеевич, все-таки молча, подписал доверенность, расписался в книге и снова лег на диван.

— Теперь остается, сударь, как ни щекотливо, но формы, Петр Авдеич, формы, уж извините меня, остается, говорю, узнать, сколько то есть времени располагаете вы пробыть... здесь?...

— Я? — отвечал штаб-ротмистр, — в Костюкове моем?...

— Ну, сударь, не совсем в вашем...

— Да, да, простите рассеянность, Тихон Парфеньич... все думаю о другом...

— Это ничего, это от усталости, должно быть, — заметил, но только уже не смеясь, горючий.

— Я выйду сегодня, сейчас...

— Зачем же, сударь? никто не говорит!

— Нет, Тихон Парфеньич, нет, я, я... вот видите...

С этим словом штаб-ротмистр улыбнулся как-то странно, опустил руки и закрыл глаза... Гости было бросились к нему, позвали людей, но, видя, что Петр Авдеевич не приходит в себя, почли за лучшее не беспокоить его более и удалиться.

В одиннадцатый день, после описанного нами происшествия, кучер Тимошка, не отходивший от постели больного барина своего ни на шаг, заметил, что лицо Петра Авдеевича будто оживилось, а дыхание барина становилось ровнее и правильнее. Тимошка, не доверяя себе, на цыпочках вышел из комнаты и тотчас же возвратился в нее, ведя за собою знакомого уже нам Готфрида Иогана Гертмана.

— Взгляните-ка, Федор Иваныч, — сказал шепотом кучер, — ей-богу, бариново-то личи-

КО СЛОВНО ОЖИВИЛОСЬ.

— И точно: покраснелось будто, — заметил немец, — а вот дай-ка спирту, я попробую потереть виски да дам понюхать.

Тимошка взял на столе стеклянку и передал ее графининому управляющему. Едва коснулась вата ноздрей больного, он повернул голову и раскрыл глаза... Увидев это, добрый кучер крикнул от радости, но Федор Иванович унял его знаком и продолжал ухаживать за штаб-ротмистром, то согревая трением руки его, то давая больному вдыхать спирт. Заботы управляющего не пропали, и, совершенно пришедши в себя, больной спросил наконец слабым голосом: где он, что с ним и отчего он ничего не помнит?

Тимошка пустился было в объяснения, но и в этот раз, приказав ему молчать, Федор Иванович попросил Петра Авдеевича не начинать говорить, пока хотя несколько не укрепится и не проспит часок-другой. Штаб-ротмистр повиновался и крепко заснул; в это время Тимошка, с радости, напился до полусмерти. Оба, как барин, так и кучер, проснулись почти в один час, но уже не в этот день,

а в следующий. Петру Авдеевичу исполнилось двадцать девять лет, следовательно, четырнадцать часов сна после кризиса нервной горячки только что не поставили его на ноги. Он спросил поесть и проглотил за один раз миску бульону с порядочным куском белого хлеба; потом спросил трубку, в один миг выкурил ее дотла и, подозвав к себе Федора Ивановича, принялся расспрашивать его как о болезни своей, так и обо всем прочем, что с ним случилось. Бедный костюковский помещик не помнил ровно ничего.

Господин Готфрид описал ему подробно все припадки нервного воспаления, не забыв упомянуть и об усердии Тимошки и других людей, а потом уже коснулся и прочего...

Штаб-ротмистр, выслушав господина Готфрида, спросил наконец: по какому же случаю находится еще он, костюковский помещик, в сельце своем Костюкове, когда Костюково это не принадлежит ему более.

На вопрос штаб-ротмистра графский управляющий отвечал улыбаясь, что, по случаю продажи имения, к ее сиятельству послана была им, господином Готфридом, эстафета,

и, по эстафете же[157], получен ответ, в котором ее сиятельство, немедленно и за какую бы то ни было цену, приказать изволили перекупить Костюково у госпожи Кочкиной, на имя прежнего владельца; а как Елисавета Парфеньевна изъявила согласие уничтожить все выданные ей штаб-ротмистром документы за десять тысяч рублей ассигнациями, то и привез эту сумму господин Готфрид штаб-ротмистру.

— Где же деньги эти? — спросил, побледнев, Костюковский помещик; глаза его страшно блистали.

Федор Иванович, все-таки улыбаясь, вынул из кармана тщательно завернутую кипу ассигнаций и подал ее больному. Вскочив с постели как сумасшедший, штаб-ротмистр судорожно схватил деньги и бросил их в лицо управляющему.

— Скажите богатой графине вашей, — воскликнул надменно полумертвец, — что сосед может быть преглупою, пребессмысленною тварью, но подлецом — никогда! Прощайте, господин Готфрид!

Оробевший немец хотел было возражать,

но Петр Авдеевич дружески пожал ему руку и, указав на дверь, громко позвал Уляшку.

В сумерки того же дня костюковский помещик оделся с ног до головы в свое старое платье, новое же роздал людям. Отцовские бумаги бросил он в печь, положил в карман к себе кошелек с оставшимися от прогонов деньгами и, помолясь перед иконами, вышел никем не замеченный из дому.



Через месяц переехали на житье в Костюково новые владельцы его, а именно: недавно перешедший из штатных смотрителей в становые пристава Дмитрий Лукьянович и супруга его Пелагея Власьевна. Кучер Тимошка за беспросыпное пьянство сослан был на поселение[158].

Прошло десять месяцев после происшествий, описанных нами. Настали святки. Давно не доводилось терпеть такой стужи, как в ту лютую зиму. Приехавши на место с временным отделением земского суда[159], становой узнал его и, несмотря на то, что смеявшийся мертвец был не кто иной, как соперник станового, Петр Авдеевич, Дмитрий Лукьянович даже не улыбнулся. Улыбнуться же покойника заставила предсмертная мысль его: он замерзал с уверенностью принадлежать впредь вместе с землею помещице.

В одну из крещенских морозных ночей в окно постоялого двора, стоявшего поодаль от деревни, постучался какой-то прохожий.

— Кого бог дает? — спросила хозяйка, лениво слезая с полатей; увидев сквозь замерзшее окно прохожего, она зажгла лучину и от-

перла дверь.

В избу вошел человек, на взгляд лет пятидесяти; лицо его было бледно и худо; одежда прохожего не походила на крестьянскую, не походила она и на солдатское одеяние, а представляла что-то среднее между военным и крестьянским. Посмотрев на него с недоверчивостию, хозяйка разбудила мужа и шепнула ему что-то на ухо. Хозяин постоялого двора, отставной солдат, менее боязливый, чем жена его, убедившись, что у прохожего не было ни ружья, ни палицы, и, видя, что, сняв с себя сумку, он преспокойно уселся под образами, спросил у него, не хочет ли он чего перекусить. Прохожий пошарил в карманах, в сумке и, не найдя, видно, денег, отвечал, что есть не хочет, а выпил бы воды и охотно прилег бы на печь.

— Кто же тебе мешает, любезный? — отвечал хозяин, — вода в сенях, а печь, вот она, ложись с богом!

Прохожий взял со стола кружку, вышел в сени и, отыскав в углу кадку с водою, напился и возвратился в избу; потом, поставив кружку на прежнее место, он перекрестился, лег

на печь, подложив себе под голову сумку.

— Видно, шаромыжник какой, — шепнула хозяйка на ухо хозяину.

— Бог с ним, пусть себе выспится; простору много в избе, — отвечал тот, укладываясь на полатах, и снова тишина воцарилась на постоялом дворе. По прошествии некоторого времени, новый стук послышался у дверей, и на этот раз не один, а много голосов долетело до слуха хозяев.

Засветив лучину, хозяйка, как и прежде, бросилась отпирать наружную дверь, и в избу при этом вошло несколько ломовых извозчиков того разряда, которыми весьма дорожат содержатели постоялых дворов.

— Милости просим, милости просим! — кричал с полатей своих хозяин, — чай, проголодались? так и похлебать найдется что в печи.

— Вестимо, проголодались, хозяин, — отвечал один из извозчиков, отдирая от бороды своей ледяные сосульки, — а есть что в печи, так ставь поскорей и хлеба подать потрудись!

Извозчики, побросав шапки свои в один угол и сняв пояса, стали расхаживать вдоль и

поперек избы, постукивая ногами и разминая различными движениями тела оледеневшие члены.

— Ну, морозец бог послал! — начал тот же парень, — дух захватывает, в гору-то и кони не берут, словно по железу каленому ступают.

— А издалеча едете? — спросил хозяин.

— Из-под Киева; вот, без мала третью неделю тащимся; путь-то бедовый; что будет в здешних местах, а за Черниговым ни порошинки снега, грех такой, право.

— Тут снегу не оберетесь, а лесами и дорога добрая, хоть шаром покати.

Во время разговора мужа с извозчиками хозяйка постлала на стол кусок холстины и, вытащив из печи чугунок со щами, вынула из него мясо, которое, свесив при извозчиках, изрезала в мелкие куски и высыпала обратно в тот же чугунок; свешен был предварительно и хлеб, поданный гостям. За первым блюдом поставлена была на стол корчага[160] с кашей, за кашею подана была половина барана, зажаренного в сале, а заключился ужин огромною мискою молока с ситником. Поглотив все без остатка, извозчики молились у об-

раза, снимали тулупы и укладывались спать, кто на лавках, а кто на печь.

— Да тут лежит кто-то, — воскликнул один из извозчиков, заметив спящего прохожего, — напрасно же, хозяйева, вы не сказали нам, что есть постояльцы у вас.

— Это бездомок какой-то, — отвечала хозяйка, — а вот я разбужу его. — И, пододвинув к печи скамейку, она стала на нее и принялась расталкивать прохожего.

— Добрый человек, — сказала супруга отставного солдата, — проезжие ребята хотят отдохнуть, ты же, чай, выспался, так бог с тобой: скоро рассветет.

Прохожий приподнял голову, посмотрел молча на хозяйку, потом слез на пол, надел сумку свою на плечи и, отыскав палку, вышел из избы.

Предутренний мороз охватил его, бедного, в свои холодные объятия, но за спиной бездомна щелкнула дверь; пред ним лежала дорога; он поднял глаза к небу, завернулся в свое рубище и пошел...

В эту ночь мерзли птицы небесные, в эту ночь собак своих не оставили бы на дворе

добрые хозяева, и в эту же ночь вытолкан был несчастный прохожий потому только, что у прохожего не оказалось ни гроша денег, чтоб заплатить за скудный ужин на постоялом дворе, стоявшем на земле графини Натальи Александровны Белорецкой.

Наутро один из лесников графини, обходя участок свой, увидел человеческий след, проложенный кем-то с большой дороги в лес. «Вор», — подумал лесник, идучи по следу. Шагах в двухстах от большой дороги он вдруг остановился и, затрясшись всем телом, снял шапку... В стороне, на древесном пне сидел белый мертвец, покрытый рубищем; мутные глаза его были открыты, они как будто смеялись.

Примечания

Большая барыня. — До выхода романа выражение в «женской» форме встречалось крайне редко (главным образом в провинции), зато широко употреблялся его «мужской» вариант — «большой барин», т. е. знатный, богатый. Непривычность сочетания для русского уха (на нее-то и рассчитывал Вонлярлярский) пронизательно уловил И. И. Панаев. «Это чистейший перевод с французского „Une grande dame“, надобно бы сказать по-русски „знатная барыня“» (Современник, 1853, № 1, отд. 6, с. 101; ср. замечание Н. В. Сушкова «Раут», кн. 3. М., 1854, с. 367). Упомянутое критиком французское выражение означает женщину, принадлежащую к высшему аристократическому кругу. Это качество героини романа было важно автору, стремившемуся при помощи перевода по модели «большой барин», соединить его с понятием знатности и огромного богатства.

...одной из западных губерний... — в рукописи (ГАСО, ф. 1313, оп. 2, ед. хр. 17, л. 55) речь шла о белорусских губерниях (это показалось автору или цензору чересчур конкретным указанием); к ним относились Минская и Могилевская губернии, западная часть Смоленской и отдельные части Гродненской, Виленской, Витебской.

[^^^]

3

Коморец — название вымышлено.

[^^^]

4

Уланские полки — относились к легкой кавалерии.

[^^^]

5

Штаб-ротмистр — офицерский чин в кавалерии, рангом ниже ротмистра. Равен званию штабс-капитана в пехоте (т. е. рангом выше поручика и ниже капитана).

[^^^]

...считался ездоком. — т. е. искусным наездником.

[^^^]

Бригада — войсковое соединение в числе двух-трех полков.

[^^^]

Аудитор — военный чиновник, исполняющий обязанности секретаря и прокурора военного суда.

[^^^]

Перекладной — почтовый экипаж, из которого при смене его на станции пересаживаются и перекладывают вещи в другой экипаж.

[^^^]

10

Сельцо (не путать с «село») — барская усадьба.

[^^^]

«Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его» — часть увещевания, с которым обыкновенно обращались к озлобленному человеку (подробнее см: Даль В. И. «Толковый словарь живого великорусского языка», т. 2. М,1955, с. 199).

[^^^]

...приказчика пошлой наружности... — т. е. весьма обыкновенного вида.

[^^^]

Ягдташ — охотничья сумка для дичи.

[^^^]

Арапник — охотничий кнут для собак.

[^^^]

Погребец — дорожный сундучок для продуктов и посуды.

[^^^]

Колодки — вероятно, имеются в виду вырезанные по форме ступни бруски (для чистки и ремонта обуви).

[^^^]

Стамбулка — небольшая изогнутая курительная трубка.

[^^^]

Гарусный кошелек — изготовленный из шерстяной (или хлопчатобумажной, но похожей на ощупь на шерстяную) скани.

[^^^]

...ветчинки провесной... — т.е. копченой.

[^^^]

Селянка — то же, что солянка.

[^^^]

«Краткое изложение всех пяти частей света». — Книги с точно таким заглавием не обнаружено. Видимо, перед нами стилизация под распространенный тип заглавия учебных книг (ср.: *«Новейшая всеобщая география, или подробнейшее описание пяти частей земного шара...»* ч. 1–4. СПб., 1818; *«Описание всех частей света»*. СПб., 1806; Эйнерлинг И. Ф. *«Обозрение пяти частей света...»* СПб., 1842), а еще вероятнее — попытка назвать книгу по памяти.

[^^^]

Казакин — верхняя мужская одежда (застегивающийся на крючки полукафтан, со стоячим воротником и со сборками сзади).

[^^^]

Заштатный — здесь: самый мелкий, незначительный.

[^^^]

Месячина — содержание натурой, ежемесячно получаемое дворовыми крепостными.

[^^^]

Фрезы — здесь, по-видимому: кружева, украшения.

[^^^]

Бергамот — сорт груш.

[^^^]

Шот — неграмотно написанное слово «счет».

[^^^]

Ижица — последняя буква дореволюционной русской азбуки.

[^^^]

Опекунский совет — учреждение, выдававшее помещикам под залог их имений ссуду сроком на 26 или 37 лет.

[^^^]

Добавочные — дополнительная ссуда (10 рублей серебром на каждую душу мужского пола), выдававшаяся под заложенное уже имение.

[^^^]

Подушные — подушная подать (государственный налог с каждой души податного состояния).

[^^^]

Чумичка — ковш, черпак.

[^^^]

Наругом — означает, по-видимому: из озорства, в шутку.

[^^^]

...вот об Вознесеньи проехаться в город... — т. е. во время церковного праздника Вознесения (39-й день по пасхе). В этот день крупная конная ярмарка устраивалась в Смоленске — перед нами нередкое в романе «просвечивание» смоленских реалий сквозь описание условного уголка «одной из западных губерний».

[^^^]

Наметка — крестьянский женский головной убор из белой ткани.

[^^^]

Доезжачий — охотник, едущий «под гончими», т. е. управляющий стаей гончих собак.

[^^^]

Косяк — «отдел приплодного табуна: каждый жеребец со своими кобылами и жеребятами образует косяк» (В. И. Даль).

[^^^]

...батист-декосами, муслин-ленами и заграничными пу-де-суй... — перечисляются виды тканей.

[^^^]

Камлот — рыхлая шерстяная ткань в полоску (намек на то, что сукно панталон было сильно вытерто).

[^^^]

Трикотажные — из шерстяной ткани «трико».

[^^^]

Частный — т. е. частный пристав — главный в данной части города полицейский чиновник.

[^^^]

...в нанковых ... панталонах... — т. е. из грубой хлопчатобумажной ткани.

[^^^]

Пристяжная — боковая постромочная лошадь, бегущая рядом с коренной (при оглобельной упряжи).

[^^^]

Китайчатый армяк — верхняя долгополая крестьянская одежда в виде халата или кафтана, сделанная из плотной хлопчатобумажной ткани (китайки).

[^^^]

Дышло — оглобля, прикрепленная к середине передней оси коляски.

[^^^]

Уездный судья — председатель уездного суда. Уездный суд «заведовал всеми гражданскими и уголовными делами в уезде» (Троцина К. «История судебных учреждений в России». СПб., 1851, с. 286).

[^^^]

Ономнясь — недавно.

[^^^]

Вальки — короткие круглые бруски, на концы которых надеваются постромки.

[^^^]

...на земских картах... — т. е. на картах данной (сельской) местности. «Охранение безопасности и исправности путей сообщения» входило в обязанности земской полиции («Свод учреждений государственных и губернских», ч. 2. СПб., 1833, с. 176).

[^^^]

Memento – Напоминание о неотвратимой гибели (лат.)

[^^^]

Вага — поперечный брус, прикрепляемый к передку экипажа при дышловой упряжке.

[^^^]

...Возьмем на выдержку любой предмет... — множество источников подтверждает, что последующее описание дает весьма правдивую картину бедственного положения еврейского населения западных губерний, явившегося результатом репрессивной внутренней политики царизма.

[^^^]

Сани без подрезов — по объяснению В. И. Даля, выражение означает, что «сани шибко раскатываются» (подрез — оковка санного полоза).

[^^^]

Архалук — шелковая просторная запашная одежда.

[^^^]

Термалама (тармалама) — однотонная плотная ткань.

[^^^]

...в самом неавантажном ... виде — производящая неблагоприятное впечатление.

[^^^]

...привели ремонт... — т. е. купленных для полка лошадей.

[^^^]

Денник — просторное стойло в конюшне или загон на улице.

[^^^]

Вист с болваном — карточная партия, в которой принимает участие на одного человека меньше, чем предусмотрено правилами виста, т. е. трое.

[^^^]

Атанде — постойте, подождите (карточный термин; здесь в переносном значении).

[^^^]

Пенное — крепкая водка.

[^^^]

...будь в ней маслак... — т. е. будь коренная лошадь более ширококостной и толстосуставной.

[^^^]

Беловой — изготовленный из выбеленной льняной пряжи, бели.

[^^^]

Авантажна — привлекателна.

[^^^]

Флорансовое — из тонкой ткани из невитых ниток.

[^^^]

Верденешевое — цвета персика (от франц. *vert-de-rêche*, буквально: цвета незрелого персика).

[^^^]

Экосезовый — из разноцветной клетчатой ткани (шотландки).

[^^^]

Канзу — накидка из легкой ткани с длинными концами, которые завязывались крест-накрест на талии.

[^^^]

Партикулярное платье — неформенное.

[^^^]

Анекдот — здесь: эпизод, случай.

[^^^]

Заволочка — смазанная лекарством тесьма, которую продергивали под кожей специальной иглой (применялась главным образом при лечении лошадей).

[^^^]

Депутат — дворянин, избираемый от каждого уезда сроком на три года «для составления родословной книги и присутствования вместе с губернским предводителем в Дворянском собрании» (Гуляев П. «О выборах дворянских и купеческих в должности». СПб., 1831, с. 3).

[^^^]

Непременный — старший непременный заседатель земского суда.

[^^^]

...во все входил сам... — СМЫСЛ ВЫСКАЗЫВАНИЯ сводится к тому, что председатель рассматривал все дела самостоятельно, мешая тем самым обогащаться старшему неперемемному члену (заседателю) суда.

[^^^]

...начку серых... — по-видимому, имеются в виду ассигнации или государственные кредитные билеты достоинством 50 рублей (менее вероятны двадцатипятирублевые ассигнации).

[^^^]

Чакрыжничать — здесь: мелочиться.

[^^^]

Становой — становой пристав; начальник небольшого полицейского участка в сельской местности (уезд был разделен на два или три стана). Становой пристав назначался губернатором (а не городничим, как у Вонлярлярского). Эту ошибку не без ехидства отметил один из рецензентов романа (см. «Пантеон», 1854, № 7, отд. «Петербургский вестник», с. 19). Она, однако, легко объясняется тем, что писатель «срисовывал» жизни описываемого им уездного города со Смоленска (города губернского) и городничий у него нередко является псевдонимом губернатора.

[^^^]

Приказ — имеется в виду приказ общественного призрения — губернский орган государственной благотворительности.

[^^^]

une position brillante - блестящее положение (фр.).

[^^^]

Однoдвoрчeскoе — принадлежащее однoдвoрцy (пoсeлeннoмy, имeющeмy пpавo влaдeть крeпoстными).

[^^^]

Резонт — искаженное: резон (разумное основание).

[^^^]

Казенный долг — здесь сумма, полученная в залог имущества.

[^^^]

Зимник — «зимняя дорога; более короткий или удобный путь, пролагаемый по водам или болотам, где летом нет езды» (В. И. Даль).

[^^^]

Чистая половина — парадная часть дома.

[^^^]

Гумозный (гуммозный) пластырь — свинцовый пластырь, содержащий в себе камедистые смолы (средство при нарывах, фурункулезе и т. п.).

[^^^]

Карпеточки — носки или короткие чулки.

[^^^]

Центифолия (пентифоль) — «малая, пышно-махровая роза, столепестка» (В. И. Даль).

[^^^]

Маз — в азартных играх прибавка к ставке (здесь в переносном значении).

[^^^]

Сатинтюрковый капот — верхняя женская одежда свободного покроя из шелковой атласной ткани («турецкого сатина»).

[^^^]

...До зимнего *Никола* — т. е. до 6 декабря (ст. ст.).

[^^^]

...«Путешествие капитана Кука», «Краткую историю древних народов»... — Вероятно, имеются в виду следующие книги: Кук Дж., «Путешествие в южной половине земного шара...» Ч. 1–6. «СПб», 1796–1800, или: Циммерман Г. «Последнее путешествие около света капитана Кука...», СПб, 1786, другое издание — СПб., 1788; «Избранные места из истории всех древних народов...» Пер. с франц. Ч. 1–2. М., 1823.

[^^^]

Никола с гвоздем — т. е. с морозом; народное наименование так называемого «зимнего Николы».

[^^^]

...отпустил ... в извоз... — т. е. отпустил на зиму в город зарабатывать извозчичьим трудом.

[^^^]

Фореитор — кучер, сидящий на передней лошади в упряжке цугом.

[^^^]

Подседельная — лошадь форейтора.

[^^^]

Clément, Clément! ... Que me veut cet homme? –
Клеман, Клеман! Что хочет от меня этот человек? (фр.)

[^^^]

Clément! Clément, vous entendez? Nous nous sommes égarés; il ó a de quoi devenir folle... Où sont mes gens? – Клеман, Клеман, вы слышите? Мы сбились с дороги, с ума можно сойти... Где мои люди? (фр.)

[^^^]

Ils sont a cent pasen arriere, madame la comtesse
– Они в ста шагах за нами, госпожа графиня (*фр.*).

[^^^]

Que faire, mon Dieu? – Боже, что же делать? (фр.)

[^^^]

Семерик — семь лошадей в упряжи.

[^^^]

Clément! Cédez votre place a ce brave homme et placez vous ailleurs – Клеман! Пересядьте и уступите ваше место этому молодцу (*фр.*).

[^^^]

Колосс родосский — огромная бронзовая статуя бога солнца Гелиоса, стоявшая в гавани древнегреческого острова Родос (одно из «семи чудес света»).

[^^^]

Каррара — итальянский город, где издавна добывается белый мрамор, получивший название каррарского.

[^^^]

Clément, mes cigarettes! – Клеман, мои папиросы! (фр.)

[^^^]

Саламе — рагу из жареной дичи; правильнее: сальми (франц. *salmis*).

[^^^]

Кокилы а ля финансьер — изысканный способ приготовления устриц; повар Петра Авдеевича изготовил, очевидно, нечто имитирующее это блюдо.

[^^^]

Рязанов (Резанов) — известный петербургский кондитер.

[^^^]

Qu'est ce que cela? – Что это? (фр.)

[^^^]

Саврасый — светло-гнедой с желтизной, с черным хвостом и черной гривой.

[^^^]

Пошевни — широкие сани, обшитые лубом.

[^^^]

Сильфида — в кельтской и германской мифологии: легкое и подвижное существо в образе женщины, олицетворяющее стихию воздуха.

[^^^]

Аванзал (аванзала) — передний зал, комната перед главным залом в больших зданиях.

[^^^]

Наяды — здесь: скульптурные изображения нимф рек и ручьев (*греч. миф.*).

[^^^]

bête curieuse – занятного зверя (фр.).

[^^^]

...не жениться с нею... — не стесняться ее.

[^^^]

Бекеша (бекешь) — верхнее мужское платье, в виде сюртука, со сборками в талии.

[^^^]

Выпорки — видимо, имеются в виду выпоротки: недоноски, вынутые из убитого животного; их мех ценился особенно высоко.

[^^^]

Берейтор — объездчик верховых лошадей.

[^^^]

...найдешь рюмку водки и закуска найдется...
— деталь не придумана Вонлярлярским. Назначая в 1846 году выпускника московского университета на службу в Смоленск, попечитель учебного округа считал своим долгом сказать: «Предупреждаю вас, что там учителя сильно попивают» (Шестаков П. Д. «Первый год моей учительской службы». Казань, 1889, с. 2).

[^^^]

...за пять рублей ассигнациями... — Денежный счет в России велся двумя способами: на серебро и ассигнации (рубель ассигнациями ценился в три с половиной раза ниже рубля серебром).

[^^^]

Полость — «половинка звериного меха на подстилку» (В. И. Даль).

[^^^]

На порядках — здесь, очевидно: на улице, вне дома (порядок — улица в деревне).

[^^^]

Ляда (лядо) — запущенные заросли.

[^^^]

causeries – светские разговоры (*фр.*).

[^^^]

en tête-a-tête – вдвоем (фр.).

[^^^]

Карсели — дорогостоящие лампы, снабженные особым механизмом для подъема масла.

[^^^]

Рюмить — плакать, хныкать.

[^^^]

В день святою архистратига Михаила... — т.
е. 8 ноября (ст. ст.).

[^^^]

...к светлому празднику... — т. е. к празднику пасхи.

[^^^]

Nous partons aujourd'hui – Мы сегодня уезжаем
(фр.).

[^^^]

Oui, madame la comtesse – Да, госпожа графиня
(фр.).

[^^^]

Империял — верх дорожной кареты.

[^^^]

...не метнуть ли руду? — т. е. не пустить ли кровь?

[^^^]

Кладь — по определению В. И. Даля, лекарство для лошадей «от запалу» («конская болезнь, от загона через силу или от опоя»).

[^^^]

Зажора — подснежная вода в дорожной яме.

[^^^]

Прогонь — плата ямщикам за провоз на почтовых лошадях от одной станции до другой.

[^^^]

...в Приказе приносят малые очень проценты... — Приказы общественного призрения (см. выше) играли также роль своеобразных кредитных учреждений, ссужая деньги частным лицам под процент и принимая вклады.

[^^^]

На Фоминой — т. е. на второй неделе после пасхи.

[^^^]

Страстная неделя — последняя перед пасхой
неделя великого поста.

[^^^]

...подорожная записана... — т. е. на заставе зарегистрирован въезд путешественника в город.

[^^^]

Гостиница Демута находилась на набережной Мойки (ныне дом 40) около Невского проспекта; в первую треть XIX в. пользовалась славой лучшего петербургского отеля, однако к сороковым годам стала постепенно утрачивать свое значение.

[^^^]

Насыпные обои — «пудренные суконною стрижкою» (В. И. Даль).

[^^^]

Триповая... мебель — обитая шерстяным бархатом (трипом).

[^^^]

Каронада — пушка, стрелявшая на небольшое расстояние.

[^^^]

Сибирка — долгополый двубортный сюртук.

[^^^]

Большая Морская — одна из самых аристократических улиц Петербурга (ныне ул. Герцена).

[^^^]

Ракалия — каналья, негодяй, подлец.

[^^^]

Пачуля — сильно пахнущие духи.

[^^^]

Палкинский трактир — один из самых знаменитых петербургских трактиров, находившийся на Невском проспекте (ныне дом 52) и принадлежавший В. П. Палкину; славился заводным органом и бильярдной.

[^^^]

Булавка с розетками — т. е. с мелкими алмазами.

[^^^]

...новые платья... — Описываемый далее туалет никоим образом не соответствовал тому обществу, в котором предполагал вращаться герой романа. По словам одного из рецензентов, Савелий Лебедин «одел Петра Авдеевича каким-то пестрым чучелою, по моде щеголей пятнадцатого класса» («Северная пчела», 1852, № 183, 16 авг., с. 731).

[^^^]

Je tombais de sommeil – Мне смертельно хотелось спать (фр.).

[^^^]

D'ou vous tombe ce prodige? – Где вы откопали
это чудо? (фр.)

[^^^]

Cela? C'est un de mes pauvres voisins de campagne, brave homme du reste, que je voudrais marier – Это? Это один из моих бедных деревенских соседей, впрочем, честный человек; я его хотела бы женить (фр.).

[^^^]

Avec qui done, par exemple – На ком же, например? (фр.)

[^^^]

Peu importe – Все равно (фр.).

[^^^]

Эстафета — дорогостоящее срочное почтовое отправление с нарочным.

[^^^]

...сослан на поселение... — т. е. в Сибирь.

[^^^]

Временное отделение земского суда — «состоит, как известно, из исправника, стряпчего и станowego» (Тургенев И. С. «Степной король Лир», глава XI).

[^^^]

Корчага — большой глиняный горшок.

[^^^]